



**УРСУЛА
ЛЕ ГУИН**



**Обширней
и медлительней
империй**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«АЗБУКА»

Хайнский цикл

Урсула Ле Гуин

**Обширней и медлительней
империй (сборник)**

«Азбука-Аттикус»

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-445

Ле Гуин У. К.

Обширней и медлительней империй (сборник) / У. К. Ле Гуин —
«Азбука-Аттикус», — (Хайнский цикл)

То, что разумная жизнь самостоятельно зародилась на Земле, – наивное заблуждение. На самом деле мы лишь одна из многих колоний, созданных прогрессорами с планеты Хайн и на долгий срок оставленных без присмотра. Однажды возобновятся межзвездные путешествия, и старейшие обитаемые миры, наш в том числе, войдут в союз под названием Экумена. Чтобы управлять космической цивилизацией без грубого вмешательства в дела других рас, свято соблюдать этику контакта и доверять миссию посла только тем, кто способен достучаться до любого сердца. Вошедший в этот сборник роман «Обделенные» – «пролог» Хайнского цикла – удостоен премий «Хьюго», «Небьюла», «Локхид» и «Прометей». Сюжетные элементы романа «Слово для „леса“ и „мира“ одно» (премия «Хьюго») легко прослеживаются в фильме «Аватар».

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-445

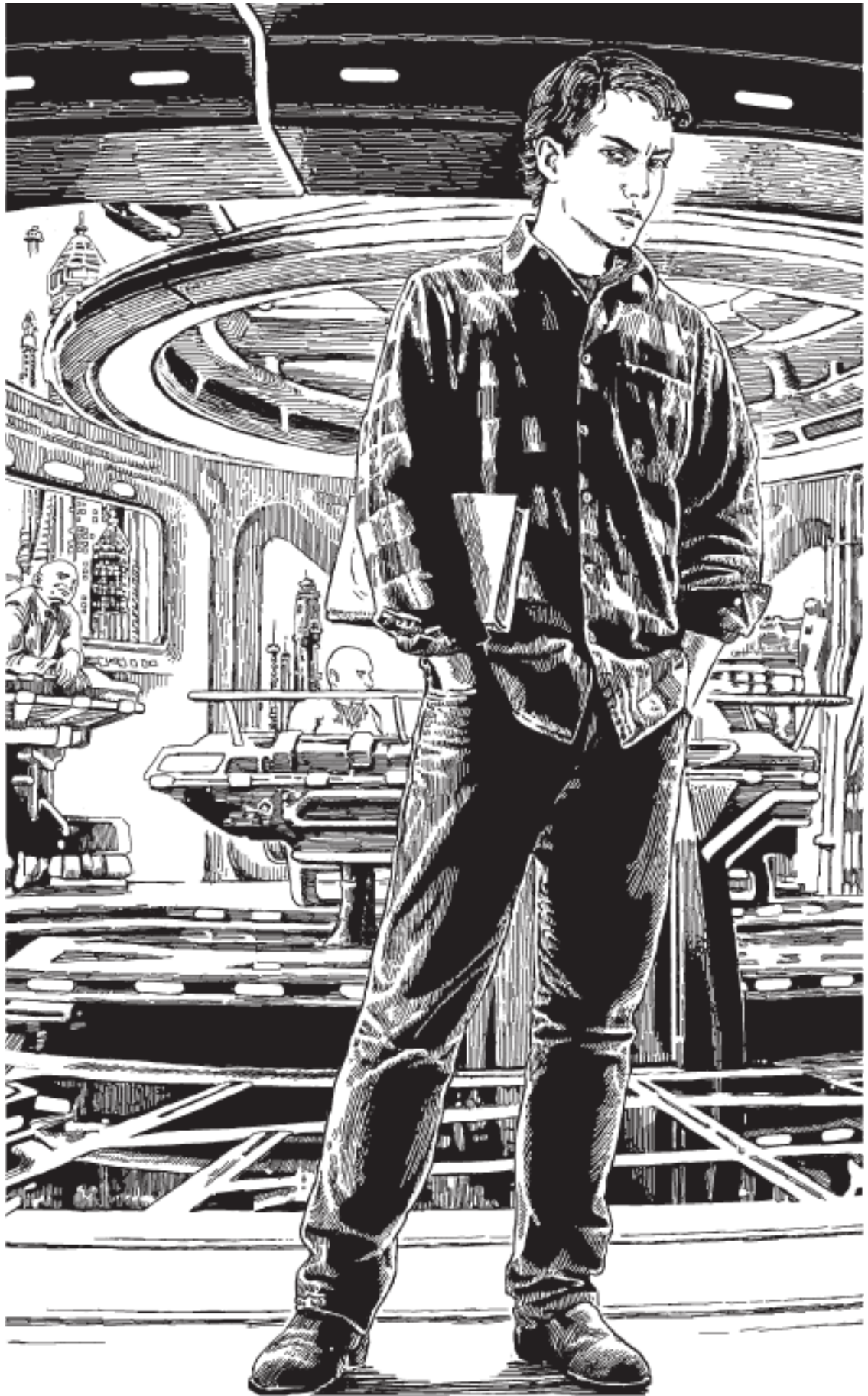
© Ле Гуин У. К.
© Азбука-Аттикус

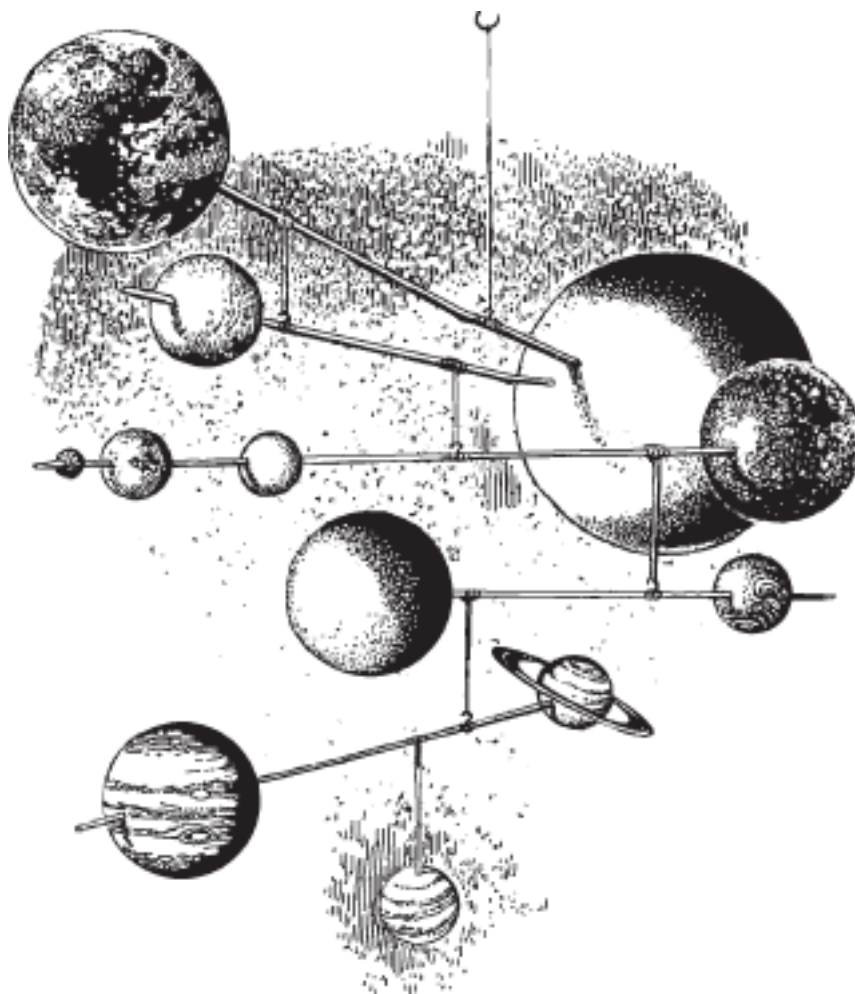
Содержание

Обделенные[1]	8
1	9
2	24
3	46
4	63
5	83
6	99
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Урсула Ле Гуин

Обширней и медлительней империй





Ursula K. Le Guin

THE DISPOSSESSED

THE DAY BEFORE THE REVOLUTION

VASTER THAN EMPIRES AND MORE SLOW

THE SHOBIES STORY

ANOTHER STORY OR A FISHMAN OF THE INLAND SEA

THE WORLD FOR WORLD IS FOREST

DANCING TO GANAM

Copyright © Ursula K. Le Guin

© И. Гурова (наследник), перевод, 2016

© О. Васант, перевод, 2016

© А. Новиков, перевод, 2016

© В. Старожилец, перевод, 2016

© И. Тогова, перевод, 2016

© С. Трофимов, перевод, 2016

© С. Григорьев, иллюстрации, 2016

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Обделенные¹



¹ Перевод И. Тогоевой

1

Анаррес – Уррас

И была там стена. Не слишком красивая – сложенная из грубого камня, кое-как скрепленного известкой. И невысокая – взрослый запросто мог заглянуть на другую сторону, а уж перелезть через стену способен был даже ребенок. Там, где стена пересекала дорогу, не было никаких ворот; она просто сходила на нет, превращаясь в линию на земле: в символ границы. Впрочем, граница-то как раз была вполне реальной и всеми соблюдалась свято вот уже семь поколений. В жизни людей на этой планете самым важным были именно эта граница и эта стена.

У стены, разумеется, было две стороны. И воспринимать мир – в зависимости от того, с какой стороны находишься, – можно было по-разному, для себя решая, какая их двух сторон внутренняя, а какая внешняя.

Так вот, если смотреть со стороны дороги, ведущей к стене, то получалось, что стена окружает довольно большой кусок пустыни в шестьдесят акров, называемый космопорт Анаррес, где вдали торчали громадные подъемные краны, виднелась стартовая площадка для космических ракет, располагались три склада, гаражи и унылые бараки для персонала, попросту казармы, где не было ни деревца, ни цветочка, ни детей и где, в общем-то, по-настоящему никто никогда и не жил. Бараки служили чисто карантинным целям – ведь в космопорт регулярно прилетали чужие космические корабли с грузом, и тогда стена отделяла от окружающего мира не только сами корабли, но и тех, кто на них прилетал, то есть инопланетян. Таким образом, стена как бы замыкала в кольцо прорвавшуюся сюда Вселенную с ее представителями, оставляя Анаррес вовне и на свободе.

Впрочем, можно было посмотреть на стену иначе, с другой стороны, и тогда получалось, что это Анаррес, весь целиком, окружен стеною, точно огромный концлагерь, и отрезан ею ото всех прочих миров Вселенной, как бы пребывая в состоянии вечного карантина.

Однако по дороге к стене всегда тянулись люди, останавливаясь у той черты, где по земле проходила граница.

Люди часто приходили сюда из расположенного недалеко города Аббенай в надежде увидеть космический корабль; некоторым же хотелось просто посмотреть на стену. В конце концов, это была единственная четко обозначенная граница на их планете. Нигде более не могли они увидеть знака, гласившего: «Прохода нет!» Особенно тянуло к стене подростков. Они прямо-таки липли к ней, залезали на нее и сидели часами, наблюдая, как огромные краны снимают упаковочные клетки с подползающих вереницей тяжелых машин. А если повезет, на взлетном поле мог оказаться даже инопланетный корабль, хотя большие рейсовые грузовики прилетали на Анаррес всего восемь раз в год и об их прилете не знал заранее никто, кроме членов Синдиката сотрудников космопорта, так что, когда мальчишкам на стене удалось на сей раз увидеть-таки корабль с Урраса, они были в восторге, однако продолжали смирно сидеть на своем месте, глядя на приземистую черную башню вдали, среди леса разгрузочных приспособлений и кранов. Наконец из складского помещения вышла какая-то женщина – судя по повязке на рукаве, член Синдиката охраны – и сказала ребятам:

– Ну все, братцы. На сегодня представление окончено.

Повязка на рукаве – знак власти! – была здесь почти такой же редкостью, как и прибытие космического корабля с другой планеты, и мальчишкам стало еще интереснее, однако тон женщины, хоть и был достаточно мягок, возражений не допускал. Она, безусловно, была здесь начальником и вполне могла позвать на помощь своих подчиненных. Впрочем, смотреть все равно было практически не на что. Инопланетяне продолжали прятаться в своем корабле, и никакого «представления» не получилось.

Сами охранники тоже явно скучали; их начальнице порой даже, пожалуй, хотелось, чтобы кто-нибудь из местных жителей попытался перелезть через стену, или член инопланетного экипажа прыгнул бы на землю с трапа своего корабля, или какой-нибудь мальчишка из Аббеная попытался пробраться на космодром, чтобы рассмотреть корабль поближе... Но этого никогда не случилось! А когда все-таки случилось, охрана оказалась к этому совершенно не готова.

– Это что же, из-за моего корабля у ворот целая толпа собралась? – изумленно спросил у начальницы охраны капитан «Старательного».

Начальница видела, что «у ворот» собралось по крайней мере человек сто. Они просто стояли – так люди стояли когда-то на железнодорожных станциях во времена Великого Голода. Начальница нахмурилась.

– Видите ли... они... э-э-э... протестуют, – сказала она, с трудом подбирая слова чужого языка йотик. – Понимаете? Вы ведь берете пассажира!

– Ну и что? Неужели вы хотите сказать, что они недовольны тем, что мы должны принять на борт какого-то ублюдка? Они что же, остановить его хотят? Или, может, нас?

Слова «ублюдок», которого попросту не существовало в родном языке начальницы охраны, она не поняла и решила, что это просто очередной иностранный термин, обозначающий представителя ее народа, но чем-то это слово ей все-таки не понравилось, точнее, не понравился тон, которым произносил его этот капитан. Впрочем, сам капитан тоже был ей неприятен.

– Вы о себе позаботитесь сумеете? – сухо спросила она.

– Еще бы, черт побери! А вы проследите, чтоб загрузка шла быстрее. И пусть поскорее доставят на борт этого ублюдка. То есть пассажира. Нам-то на этих болванов у ворот наплевать. – И капитан одобрительно похлопал ладошкой по висевшей у него на форменном ремне металлической штуковине, похожей на уродливый фаллический символ, и покровительственно посмотрел на невооруженную женщину.

Она холодно на него взглянула, – конечно же, она давно знала, что это оружие.

– Погрузка будет закончена через четырнадцать часов, – отчеканила она. – Команде лучше оставаться на борту – так безопаснее. Взлет состоится через четырнадцать часов сорок минут. Если вам понадобится какая-либо помощь, передайте информацию в Наземный контроль. – И она пошла прочь, пока капитан не успел еще раз досадить ей своим хамским поведением. Сдерживаемый ею гнев прорвался лишь у самой стены. – Эй, очистить дорогу! – грубо крикнула она собравшимся. – Сейчас тяжелые грузовики пойдут, еще раздавят кого-нибудь. А ну разойдись!

Мужчины и женщины в толпе что-то сердито возражали ей, спорили друг с другом, но уходить и не думали и продолжали торчать у самой дороги, а некоторые даже зашли за стену. Однако проезд все же более или менее освободили. Начальница охраны абсолютно не представляла себе, как следует вести себя с пикетчиками; впрочем, и сами «пикетчики» никаким опытом не обладали. Будучи членами всего лишь человеческого сообщества, но не того, что принято называть «коллективом», люди эти были движимы отнюдь не «массовым сознанием»; здесь было не меньше различных мнений и эмоций, чем самих людей. И они вовсе не предполагали, что кто-то попытается ими командовать; подчиняться командам они вообще не привыкли. Отсутствие этой привычки и спасло жизнь пассажиру космического грузовика.

Кое-кто в толпе был настроен настолько агрессивно, что готов был убить предателя. Иные хотели всего лишь помешать ему покинуть планету или хотя бы выразить ему свое презрение, безусловно заслуженное. Некоторые же пришли просто посмотреть на «этого дезертира». Однако именно то, что людей собралось так много, и помешало настоящим убийцам приблизиться к своей жертве. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, даже ножи были не у всех. Понятие «насилие» для них носило характер физической расправы, физического

превосходства. Они ожидали, что пассажира привезут на машине, возможно в сопровождении охраны, и поэтому с подозрением посматривали на каждый грузовик, без конца задерживая их у ворот. Пока они осматривали очередную машину и спорили с ее разъяренным водителем, тот, кого они так ждали, пришел по дороге пешком, в полном одиночестве и беспрепятственно миновал половину пути к кораблю, когда его недруги наконец опомнились. За пассажиром на некотором расстоянии следовали пятеро охранников. Наиболее агрессивные из пикетчиков бросились было вдогонку, но, поняв, что перехватить его не успеют, принялись кидаться камнями, что было совсем уж ни к чему. Беглеца они лишь слегка задели – он успел нырнуть в корабельный люк, который тут же был задраен, – но двухфунтовый осколок кремня угодил одному из охранников прямо в висок. Несчастный упал замертво.

Его тут же потащили назад, не сделав ни малейшей попытки остановить разъяренных пикетчиков, которые продолжали мчаться к кораблю, несмотря на грозные окрики начальницы охраны, белой от пережитого потрясения и гнева. Она кляла их на все корки, выбежав им наперез, однако они обтекали ее, точно вода камень, и остановились в нерешительности, лишь добежав до корабля. Таинственное молчание огромного межпланетного грузовика, движение кранов, похожих на скелеты гигантских животных, странный вид будто обуглившейся земли и полное отсутствие людей – все это совершенно сбilo их с толку. А когда из недр корабля вырвалось облако то ли пара, то ли какого-то газа, пикетчики и вовсе отступили, смущенно и испуганно поглядывая на гигантские сопла, напоминавшие черные туннели. Сперва один, потом второй, а потом и все остальные бросились к воротам. Никто их не останавливал. Через десять минут на поле было чисто. Толпа рассыпалась вдоль дороги, ведущей в Аббенай. Собственно, ничего больше на взлетном поле не произошло.

Зато внутри корабля царил суматоха. Поскольку Наземный контроль ускорил время взлета, все обычные приготовления пришлось закончить в спешном порядке. Капитан приказал пристегнуть пассажира к креслу и запереть в кают-компании вместе с доктором, чтобы не путался под ногами. Оттуда благодаря экрану наружного наблюдения они могли, если хотели, наблюдать за последними приготовлениями и взлетом.

Пассажир не отрывал глаз от экрана. Он видел взлетное поле, и стену вокруг космопорта, и далекие туманные горы Не-Терас, покрытые зеленоватыми пятнами низкорослых деревьев-холум и серебристыми зарослями лунной колючки.

Вдруг знакомый пейзаж метнулся по экрану куда-то вниз. Голову пассажира прижало к креслу, и кресло запрокинулось – точно в кабинете стоматолога, когда лежишь в идиотской беспомощной позе, а тебя еще заставляют открыть пошире рот. Дышать стало трудно, подташнивало, под ложечкой свернулся тугой узел страха. Все тело, казалось, стонало от навалившейся на него непосильной тяжести. «Нет, не сейчас, погодите, я не хочу!..»

Его спасли собственные глаза, по-прежнему устремленные на экран, а потому сумевшие все увидеть и заставить разум воспринимать происходящее. Безумный страх отступил. На экране появилась странная огромная мертвенно-бледная равнина – сплошной камень. Примерно такой, наверное, виделась Великая Пустыня Даст² с вершин обступивших ее гор. Но как он снова там оказался? Ах да, он же летит на воздушном корабле! Точнее, на космическом. Край равнины сверкнул, точно луч света на поверхности моря. Но в пустыне Даст воды никогда не было! Что же он тогда видит? Каменистая равнина превратилась вдруг в огромную, полную солнечного света чашу. Он с изумлением смотрел, как эта «чаша» становится все более плоской и свет как бы выплескивается из нее через край. Вдруг от «чаши», почти превратившейся в круг, как бы отсекли абсолютно ровный с геометрической точки зрения сегмент. За ним была чернота. И тут же вся картина полностью переменялась: это была уже не «чаша», полная света, а нечто выпуклое, как бы отвергавшее свет, отражавшее его и постепенно превращавшееся в

² Dust (англ.) – пыль. – Примеч. перев.

сферу из белого камня, стремительно падавшую куда-то вниз, в черноту. То была его родная планета Анаррес.

– Я не понимаю, – громко сказал он.

Кто-то ему ответил. Сперва он никак не мог уразуметь, что рядом с ним кто-то есть, мало того, кто-то отвечает на его вопросы, разговаривает с ним, – ему казалось, что это просто невозможно, ведь его мир, его планета улетела куда-то во тьму, оставив его в полном одиночестве...

Он всегда этого боялся, боялся больше, чем смерти. Умереть – значит утратить собственное «я», стать таким же, как все остальные, присоединиться к ним. Он же свое «я» сохранил, хотя и утратил все остальное...

Наконец, собравшись с силами, он посмотрел на того, кто был с ним рядом. Разумеется, этот человек был совершенно ему незнаком. Отныне кругом вообще будут одни незнакомцы. И говорил незнакомец на чужом языке – на языке йотик. Однако отдельные слова все же постепенно обретали смысл, и все мелочи вокруг – тоже, только все в целом смысла не имело. Ага, понятно: этот человек что-то говорит о ремнях безопасности, которыми он пристегнут к креслу. Шевек неумело принялся их отстегивать. Кресло тут же само выпрямилось, и он чуть не вылетел из него. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Незнакомец почему-то все время спрашивал, не был ли кто-то ранен. О ком это он? «Уверен ли он, что не ранен?» Понятно: вежливая форма языка йотик требует третьего лица. Это он о нем, о Шевеке, заботится. Интересно, а чем он мог быть ранен? И при чем здесь камни и скалы? Что за ерунда! Разве можно ранить кого-то – скалой? Шевек оглянулся на экран, на те белые скалистые стены, что уже уплыли в темноту. Но на экране ничего не было видно...

– Со мной все в порядке, – сказал он первое, что пришло в голову.

Однако такой ответ незнакомца отнюдь не удовлетворил.

– Пожалуйста, пойдите со мной. Я врач.

– Но мне не нужен врач! Я прекрасно себя чувствую.

– Пожалуйста, пойдите со мной, доктор Шевек!

– Это вы доктор, – сказал Шевек, подумав. – Врач. А я никакой не доктор. Я просто Шевек.

Врач, светловолосый и лысоватый коротышка, даже сморщился от волнения:

– Вам следовало бы все это время находиться в своей каюте, доктор Шевек!.. Опасность инфекции!.. Вы пока не должны вступать в контакт ни с кем, кроме меня... Я две недели занимался дезинфекцией... Неужели все это напрасно? Черт бы побрал этого капитана! Пожалуйста, доктор Шевек, пойдите со мной, иначе мне придется отвечать...

Шевек видел, что коротышка и впрямь не на шутку расстроен, однако не испытывал ни угрызений совести, ни сочувствия. Впрочем, даже в теперешнем его состоянии, с этим непреодолимым ощущением одиночества в душе, для него по-прежнему важен был только один закон, один-единственный общечеловеческий закон, какой он когда-либо признавал: категорический императив.

– Хорошо, – сказал он и встал.

Голова все еще кружилась; почему-то побаливало правое плечо. Он понимал, что корабль давно уже летит, но ощущения движения не было – только странная тишина вокруг, прямо за стенами, абсолютная, пугающая тишина. Этой космической тишиной были полны стальные коридоры, по которым врач вел его.

Каюта была небольшая, с какими-то странными бороздчатыми и голыми стенами. Она вызывала в памяти те неприятные воспоминания, о которых ему хотелось навсегда забыть. Шевек остановился было на пороге, однако доктор просил, настаивал, и он в конце концов все же вошел.

И сел на койку, больше похожую на полку стеллажа. В голове по-прежнему стоял легкий звон, хотелось спать. Он без всякого интереса наблюдал за действиями врача. Хотя чувствовал, что должен был бы проявлять любопытство: ведь это первый житель планеты Уррас, первый уррасти, которого он видит в жизни! Нет, он слишком устал. Ему страшно хотелось лечь и уснуть.

В прошлую ночь он даже не прилег – просматривал свои записи. Три дня назад он проводил Таквер и детей в Город Благоденствия и после этого не имел ни одной свободной минуты: то мчался на пункт радиосвязи с Уррасом, то снова и снова обсуждал грядущие планы и возможности с Бедапом и остальными, то сваливалось что-нибудь еще, и все неотложное, и в течение этих трех суматошных дней его не покидало ощущение, что не он пытается доделать все недоделанное, а все эти бесконечные дела управляют им, всей его жизнью, всем его существом, что он давно уже не принадлежит себе. Его собственная воля бездействовала, честно говоря, и не испытывая потребности действовать. Однако это ведь благодаря его воле сейчас ведется столь бурная деятельность, и он по собственному желанию оказался здесь, на этом корабле! Как давно все началось! Годы прошли с тех пор. Пять лет назад, когда в ночной тиши горного Чакара он сказал Таквер: «Я поеду в Аббенай и разрушу все эти проклятые стены!» И даже еще раньше, гораздо раньше – в пустыне Даст, в годы голода и отчаяния, когда он пообещал себе, что отныне будет действовать только по собственному свободному выбору. Следуя этому обещанию, он и попал сюда – куда-то вне времени и пространства, в эту маленькую тюрьму...

Врач внимательно осмотрел его раненое плечо (здоровенный синяк удивил Шевека: он был так напряжен и так спешил, что даже не понял происходившего у ворот космопорта и не заметил, как в него попал камень), отошел и снова вернулся, держа в руке шприц.

– Я не хочу, – твердо сказал Шевек. Разговорный йотик пока давался ему с трудом, говорил он медленно и по сеансам радиосвязи знал, что произношение его тоже оставляет желать лучшего. Однако грамматику знал неплохо, предложения строил правильно, и ему труднее было воспринимать чужую речь на слух, чем выражать собственные мысли.

– Но это же вакцина против кори! – с профессиональной невозмутимостью возразил врач.

– Нет, – сказал Шевек.

Врач задумчиво пожевал губу и спросил:

– А вы знаете, что такое корь?

– Нет.

– Это болезнь. Инфекционная. У взрослых часто протекает очень тяжело. У вас на Анаресе ее нет; когда планету заселяли, были предприняты специальные профилактические меры. А вот на Уррасе она весьма распространена. Для вас она вполне может оказаться смертельной. И не только корь, но и многие другие вирусные инфекции. У вас ведь нет иммунитета. Кстати, вы правша?

Шевек машинально кивнул. С изяществом фокусника врач воткнул иглу в его правое плечо. Шевек покорился и молча перенес эту инъекцию и еще много других. У него теперь не было права ни на подозрения, ни на протесты. Он сам навязал себя этим людям, сам отказался от данного ему от рождения права решать все самому. Теперь у него этого права нет – оно отделилось от него вместе с его планетой, с его миром, с миром Обещания, с миром голого камня.

Врач снова что-то сказал, но он больше его не слушал.

Долгие часы – или дни? – он провел в бездействии, в иссушающей безжалостной пустоте без прошлого, без будущего. Стены окружали его плотным кольцом. За стенами царила тишина. Плечи и ягодицы болели от бесконечных уколов; у него сильно поднялась температура, бреда настоящего, правда, не было, но ему казалось, что он находится как бы в промежуточном состоянии между сознанием и бредом, как бы в лимбе, на ничьей территории. Время остановилось. Собственно, его вообще не было. Теперь Шевек сам стал временем. Стал бегу-

щей рекой, выпущенной из лука стрелой, брошенным камнем... Но не двигался – брошенный камень, зависший посреди полета. Не было ни дней, ни ночей. Врач то выключал свет, то включал его. У постели Шевека на стене висели часы. Стрелка двигалась от одной цифры к другой – всего на циферблате их было двадцать, – но смысла в этом он никакого не видел.

Проснувшись после долгого, глубокого сна, он прямо перед собой увидел часы и сонно принялся их изучать. Стрелка застыла чуть дальше «3», если считать с цифры «12», как в часах, рассчитанных на двадцатичетырехчасовые сутки, значит, скорее всего, сейчас середина дня, далеко за полдень. Впрочем, о каком «полудне» может идти речь на космическом корабле, повисшем в пустоте между двумя мирами? Что ж, в конце концов и здесь нужно соблюдать какое-то время. Столь разумные выводы весьма вдохновили Шевека. Он сел, голова больше не кружилась. Тогда он встал и попробовал сделать несколько шагов. В общем не шатало, хотя у него было странное ощущение, что подошвы ног не касаются пола. Видимо, в корабле сила тяжести была несколько меньше обычной. Не слишком приятное ощущение – больше всего Шевеку хотелось в данный момент устойчивости, основательности, солидности, достоверности. И в поисках этого он принялся обследовать каюту.

Голые стены, как оказалось, таили в себе множество сюрпризов, которые только и ждали, чтобы их обнаружили: стоило коснуться панели, как появлялся умывальник, или унитаз, или зеркало. Стол, стул, шкафчик, полки... К умывальнику было присоединено несколько совершенно загадочных электроприборов, а вода продолжала течь из крана, пока сам его не закроешь, – никакого ограничительного клапана не было. Шевек решил, что это великий и добрый знак – то ли безграничной веры в человека, то ли уверенности в том, что запасы воды достаточно велики. Решив, что последнее более верно, он вымылся весь и, не обнаружив полотенца, высушил себя с помощью одного из загадочных устройств – оттуда исходила приятно теплая струя воздуха. Не обнаружив собственной одежды, он снова надел то, что было на нем, когда он проснулся: свободные штаны и бесформенную робу – то и другое ярко-желтого цвета в мелкий синий горошек. Он взглянул на себя в зеркало. М-да, зрелище довольно удручающее. Неужели они на Урресе так одеваются? Он тщетно искал расческу, ограничился тем, что как следует пригладил волосы руками, и решил, что вполне привел себя в порядок и можно выйти из каюты.

Увы. Дверь была заперта.

Сперва Шевек изумился, потом пришел в ярость – то была слепая ярость, страстное желание совершить насилие. Ничего подобного он никогда в жизни не испытывал. Он терзал неподвижную ручку двери, колотил кулаками по гладкому металлу, потом повернулся и что было силы ударил по кнопке вызова, которой врач предложил ему воспользоваться в случае необходимости. Но ничего так и не произошло. На панели интеркома было еще множество разноцветных кнопок с различными номерами, и Шевек злобно шлепнул ладонью сразу по нескольким. Динамик на стене ожил и сердито пробурчал:

– Кто это, черт возьми, там безобразничает в двадцать второй?..

– Немедленно отоприте дверь! – гневно заорал Шевек.

Дверь отъехала в сторону, и в каюту заглянул врач. При виде его знакомой лысины и желтоватого встревоженного лица Шевек несколько остыл и отступил в темный угол, откуда с возмущением заявил:

– Мою дверь заперли!

– Извините, доктор Шевек... всего лишь мера предосторожности... можно подцепить любую инфекцию... Приходится никого к вам не пускать...

– Не пускать никого ко мне или запирать меня ото всех – это абсолютно одно и то же, – сказал Шевек, глядя на доктора с высоты своего немалого роста светлыми ошалелыми глазами.

– Безопасность...

– Безопасность? А в аквариум вы меня посадить не хотите?

– Не желаете ли пройти в офицерскую кают-компанию? – поспешно спросил доктор примирительным тоном. – Кстати, вы не голодны? А может, хотите одеться? А потом мы прошли бы в кают-компанию и...

Шевек внимательно посмотрел на доктора: узкие синие брюки, заправленные в высокие, удивительно мягкие и гладкие сапожки; сиреневая легкая куртка или блуза спереди на застежке в виде серебряных крючков; у ворота и на запястьях из-под нее выглядывал тонкий трикотажный свитер ослепительной белизны.

– Значит, я не одет? – наконец изумленно спросил Шевек.

– О, конечно! Пижамы, в общем, вполне достаточно... У нас тут, знаете ли, свободно, никаких особых правил этикета... Тем более на грузовом корабле!

– Пижамы?

– Ну да, того, что на вас. В этом спят.

– Спят в одежде?

– В пижаме.

Шевек был потрясен. Он помолчал и спросил:

– А где та одежда, что была на мне?

– Ах, та? Я отдал ее почистить... простерилизовать... Надеюсь, вы не возражаете, доктор Шевек?.. – Он пошарил по стене – открылась панель, которой Шевек обнаружить пока не успел, и оттуда вылетело нечто завернутое в бледно-зеленую бумагу. Врач вынул из свертка старый костюм Шевека, который выглядел теперь чрезвычайно чистым, хотя, похоже, несколько уменьшился в размерах; затем он скомкал бумагу, нажал на другую панель, сунул бумажный комок в открывшееся взору мусорное ведро и неуверенно улыбнулся: – Прошу вас, доктор Шевек.

– А что стало с бумагой?

– С какой бумагой?

– С зеленой?

– Ах, это! Я ее выбросил.

– Выбросили?

– Ну да, в мусорное ведро. Ее потом сожгут.

– Вы сжигаете бумагу?

– Я, конечно, не совсем уверен... возможно, мусор просто выбрасывают в космос... Я ведь не врач-космонавт, доктор Шевек, летаю не так часто. Мне была оказана честь сопровождать вас, поскольку у меня богатый опыт общения с инопланетянами. Например, с посланниками Земли и Хайна. Кроме того, именно я отвечаю за процесс профилактической вакцинации и адаптации всех инопланетян, прибывающих в А-Йо; впрочем, вы, разумеется, не совсем обычный инопланетянин... не в полном смысле этого слова... – Он смущенно посмотрел на своего собеседника.

Шевеку далеко не все было понятно, но его покорила эта тревожно-робкая доброжелательность.

– Да-да, конечно, – сказал он. – Возможно даже, что у нас с вами на Уррасе была одна и та же прапрапрабабка – лет этак двести назад. – Он уже надевал свою привычную одежду и, натягивая через голову сорочку, заметил, как врач сует желтую в синий горошек пижаму в контейнер для мусора. Шевек на мгновение замер, так до конца и не просунув голову в ворот, потом быстро натянул рубашку и заглянул в «мусорное ведро»: там было пусто. – Эту одежду тоже сожгут?

– Ах, да это же дешевенькая пижама, так сказать, для одноразового пользования... надел и выбросил... сделать новую дешевле, чем стирать ее или чистить...

– Дешевле... – задумчиво повторил Шевек. Он пробовал это слово на вкус – так палеонтолог смотрит порой на какую-нибудь крошечную окаменелость, в которой для него воплощен целый археологический период.

– Боюсь, ваш багаж пропал... во время... вашего поспешного... последнего броска по взлетному полю... Надеюсь, там не было ничего особенно важного?

– Я ничего с собой не взял, – ответил Шевек.

Костюм его стал практически белоснежным и действительно несколько подсел, но все же сидел вполне сносно. Приятным было и знакомое прикосновение грубоватой ткани из волокна холум. Он снова чувствовал себя самим собой, прежним. Несколько успокоенный этим, он сел на кровать лицом к врачу и сказал:

– Видите ли, мне понятно, что у вас все иначе, чем на нашей планете. На Уррасе нужно все себе покупать. Поскольку я направляюсь к вам, не имея денег, а стало быть, не имея и возможности что-либо купить, значит я должен был что-то принести с собой. Но много ли я мог захватить с Анарреса? И что именно? Одежду? Ну хорошо, я мог бы взять еще два костюма. Но как быть, например, с едой? Разве я мог бы привезти с собой на другую планету достаточно пищи? И на какой срок? И так, у меня ничего нет, купить я тоже ничего не могу. Если на Уррасе захотят сохранить мне жизнь, то должны все это мне просто дать. Но ведь тогда получится, что я заставляю вас вести себя подобно жителям Анарреса! То есть делиться, давать даром, а не продавать. Так, во всяком случае, мне представляется. Хотя, разумеется, вам совсем необязательно сохранять мне жизнь... Ведь вы уже поняли, что я самый обыкновенный нищий!

– О нет! Как вы можете так говорить! Вы наш долгожданный и уважаемый гость! И пожалуйста, не судите о нашей планете по команде этого корабля – на грузовиках обычно летают весьма невежественные и ограниченные люди. Вы даже представить себе не можете, какой вам будет на Уррасе оказан прием! В конце концов, вы всемирно – нет, всегалактически! – известный ученый! И к тому же наш первый гость с Анарреса. Уверяю вас, все будет совершенно иначе, и вы сами в этом убедитесь, как только мы прибудем в Пейер-Филд.

– Не сомневаюсь. Вот в этом я совершенно не сомневаюсь, – тихо ответил Шевек.

* * *

Перелет с Анарреса на Уррас обычно занимал четверо с половиной суток, однако на этот раз «Старательному» еще пять суток пришлось провести на орбите: пассажиру необходимо было как следует адаптироваться к новым условиям. Шевек и Кимое, сопровождавший его врач, провели это время в бесконечных прививках и беседах, тогда как капитан «Старательного» проклинал все на свете. Встречаясь с Шевеком, он говорил с ним как-то странно, смущенно-пренебрежительно. И Кимое, готовый объяснить все на свете, тут же выдал свое толкование подобного поведения:

– Видите ли, наш капитан привык воспринимать иностранцев и инопланетян как существа низшего порядка. Он не считает их «настоящими» людьми.

– Да-да, я помню, что Одо назвала это «созданием псевдовидов», но полагал, что на Уррасе уже не популярны подобные взгляды, – ведь у вас так много различных языков и национальностей и, наверное, немало гостей из иных солнечных систем...

– Да нет, последних как раз очень мало – полет из одной галактики в другую слишком дорог и долог. Надеюсь, правда, так будет не всегда, – прибавил Кимое, с лстивой улыбкой взглянув на Шевека, однако Шевек намека не понял. Он думал о своем.

– А помощник капитана, похоже, меня просто боится, – сказал он.

– О, в данном случае это примитивный религиозный фанатизм. Он из тех, кто неуклонно верит в Божоявление. Каждую ночь исступленно молится перед заутреней. Совершенно косное мышление!

– Значит, он воспринимает меня... как?

– Как опасного атеиста.

– Атеиста! Но почему?

– Как? Потому что вы последователь учения Одо, потому что вы с Анарреса – где, как известно, веры не существует.

– Не существует веры? Неужели вы действительно считаете, что у нас нет веры? Что же мы там, каменные?

– Я имею в виду государственную религию, доктор Шевек, – с Церковью, с Символом веры... – легко поправился Кимое.

У него была типичная для врача доброжелательная уверенность в собственной правоте, однако Шевек постоянно умудрялся эту уверенность поколебать. Стоило ему задать два-три довольно-таки неуклюжих вопроса, и Кимое оказывался в тупике, не находя ответа.

У каждого из собеседников имелись к тому же вполне определенные установки, совершенно неведомые другому. Например, Шевеку казалась весьма странной концепция превосходства одной расы над другой. Он знал, что подобная концепция занимает важное место в мировоззрении уррасти; в их языке слово «выше» часто употреблялось как синоним слова «лучше». Он не раз сталкивался с этим даже в трудах по физике и математике, например в тех случаях, когда анаррести сказал бы: «Ближе к центру». Но какое отношение имело понятие «быть выше кого-то» к понятию «быть чужеземцем»? Подобных загадок возникало сотни!

– Понятно, – сказал он, отчасти удовлетворившись ответом Кимое. – Вы не допускаете, что вера, религия может существовать вне церквей. Как не допускаете и существования иных моральных установок, не вписывающихся в рамки ваших законов. А знаете, я ведь так и не сумел до конца это понять, сколько ни искал ответ в книгах ваших авторов.

– Ну, в наше время всякий просвещенный человек, конечно же, допускает...

– А словари только путаницу вносят, – продолжал, словно не слыша его, Шевек. – В языке правик слово «религия» вообще употребляется редко. Нет, вы бы сказали: «В исключительных случаях». В общем, нечасто. Разумеется, это одна из категорий познания, возможно, четвертая. Мало кто из людей способен воспользоваться всеми двенадцатью категориями теоретического естествознания. Однако эти типы познания созданы на основе естественных возможностей человеческого разума, так что ни в коем случае нельзя всерьез считать, будто обитатели Анарреса даже потенциально не способны к религиозным верованиям. По-моему, у нас вполне успешно занимались, например, физикой, хотя мы были практически оторваны от тех фундаментальных знаний, которые остальное человечество получило в результате своего проникновения в космос.

– О, я вовсе не то хотел...

– В ином случае нас действительно стоило бы считать «псевдовидом»!

– О, разумеется! Всякий образованный человек сразу бы догадался... Пилоты на этом корабле – просто невежественные люди...

– Но неужели только религиозным фанатикам разрешено выходить в космос?

Это был очередной вопрос, поставивший Кимое в тупик. Подобные разговоры становились порой невыносимо утомительными для маленького доктора и не приносили удовлетворения Шевеку. И все же для обоих они были чрезвычайно интересны! Для Шевека это была единственная возможность предварительного знакомства с тем новым миром, что ждал впереди. Пространство корабля и разум Кимое в данном случае составляли весь его микрокосм. На борту «Старательного» не было книг, офицеры избегали Шевека, а остальным членам команды вообще было строго запрещено показываться ему на глаза. Что же касается умствен-

ных задатков доктора Кимое, то, несмотря на безусловную образованность и доброжелательность, в мыслях у него царила чудовищная неразбериха, нагромождение нелепых интеллектуальных артефактов, в которых разобраться было не менее сложно, чем в бесчисленных бытовых приспособлениях, которыми корабль был битком набит и которые Шевек со временем стал находить даже забавными. Здесь всего было так много и все такое красивое, современное и остроумно сделанное, что он не мог не восхищаться кораблем. Однако «обстановку» в душе и мыслях доктора Кимое Шевек отнюдь не находил столь же удобной для жизни. Мысли Кимое, казалось, просто не способны были выстраиваться по прямой; что-то он вынужден был обойти кругом, другого вообще избегать, а в итоге упирался лбом в очередную непробиваемую стену. Подобные «стены» окружали все его мысли и представления, хотя сам он, похоже, даже не подозревал об их существовании. Зато у собеседника возникало ощущение, что он постоянно за ними прячется. Лишь однажды Шевеку удалось действительно «пробить брешь» в такой «стене».

Он всего лишь, помнится, спросил, почему на корабле нет женщин, и Кимое ответил, что водить грузовой корабль не женское дело. Чтение многочисленных исторических трудов и неплохое знание работ Одо дали Шевеку возможность представить себе тот контекст, в котором можно было понять незыблемую логику данного ответа, и он больше ничего спрашивать не стал. Однако Кимое тут же сам задал ему вопрос:

– А правда, доктор Шевек, что женщины в вашем обществе пользуются абсолютно теми же правами, что и мужчины?

– Зачем же заставлять простаивать зря отличные «рабочие механизмы»! – пошутил Шевек. Помолчал и засмеялся – настолько нелепой показалась ему мысль, явно заставившая Кимое задать этот вопрос.

Кимое поколебался, в очередной раз выбирая обходной путь среди различных препон и запретов, потом вдруг вспыхнул и забормотал смущенно:

– О нет... я имел в виду не половые отношения... Очевидно, вы... они... Я имел в виду социальный статус ваших женщин.

– «Статус» – это примерно то же самое, что «класс»?

Кимое безуспешно попытался объяснить Шевеку, что такое «статус», потом вернулся к исходной теме:

– Неужели у вас действительно не существует подразделения работы на «мужскую» и «женскую», доктор Шевек?

– Пожалуй, нет. По-моему, это чисто механическое разделение труда. Вы со мной не согласны? Человек выбирает себе занятие, работу по своим интересам, по призванию, в соответствии, наконец, со своими физическими возможностями и выносливостью – какое ко всему этому отношение имеют половые различия?

– Мужчины физически сильнее, – уверенным тоном заявил Кимое.

– Да, часто. И крупнее женщин. Но ведь существуют машины! И даже если б их не было, даже если б мы должны были копать землю лопатой и переносить тяжести на собственной спине, мужчины, возможно, работали бы быстрее, зато женщины – дольше, поскольку они выносливее... Ох, частенько мне хотелось обладать той же выносливостью и тем же упорством, какими обладают женщины!

Кимое уставился на него, явно потрясенный до глубины души. Он даже о вежливости забыл.

– Но утрата... женственности... изящества... деликатности... Утрата мужского самоуважения... Вы же не станете притворяться, что в вашей области есть равные вам среди женщин? В физике, в математике? В интеллектуальной сфере в целом? Не станете же вы утверждать, что готовы низвести себя до их уровня?

Шевек сел в мягкое удобное кресло и окинул взглядом ставшую уже привычной офицерскую кают-компанию. На экране все так же светился на фоне черного неба сегмент яркого зелено-голубого шара – Уррас. Он вдруг почувствовал себя совершенно чужим здесь, среди ярких красок изысканной обтекаемой мебели, мягкого скрытого освещения, изящных игровых столов, телевизионных экранов, пушистых ковров на полу...

– Мне, вообще-то, не свойственно притворяться, Кимое, – сухо заметил он.

– О, простите!.. Разумеется, я и сам знал весьма неглупых женщин, которые способны были мыслить не хуже мужчин... – Кимое почти кричал и явно понимал, что вот-вот сорвется.

А ведь он ломится в открытую дверь, подумал Шевек, потому и нервничает...

Он быстро сменил тему разговора, однако мысли продолжали крутиться вокруг затронутого вопроса. Должно быть, в общественной жизни Урраса проблема превосходства и неполноценности занимает центральное место. Если для того, чтобы уважать себя, даже Кимое, врачу, необходимо считать половину человеческого рода существами низшего порядка, то как же чувствуют себя на Уррасе женщины? Как им удастся достичь самоуважения? Или они, в свою очередь, тоже презирают мужчин? Считают их существами низшего порядка? И как все это отражается на взаимоотношениях двух полов? Из трудов Одо Шевек узнал, что двести лет назад основными институтами, регулирующими сексуальные отношения на Уррасе, были «браки» – некий союз партнеров, узаконенный и установленный правовыми и экономическими нормами, – и «проституция», по сути дела, очень широкий термин, обозначающий совокупление за деньги, то есть на основе «купли-продажи», все тех же экономических отношений. Одо вынесла суровый приговор обоим этим институтам, однако сама была замужем. Впрочем, за двести лет эти институты вполне могли претерпеть существенные изменения. Если он собирается жить на Уррасе и среди уррасти, то лучше все это выяснить сразу.

Неужели даже секс, бывший для него источником утешения, радости и веселья в течение стольких лет, буквально через несколько дней может стать запретной территорией, где следует пробираться осторожно, с оглядкой, сознавая свое невежество? Да, именно так. Первое предостережение он уже получил – не только благодаря мимолетной вспышке раздражения у Кимое; скорее этот эпизод внезапно прояснил его собственные прежние неясные догадки. Впервые оказавшись на борту космического корабля, в течение долгих часов горячечного отчаяния он неотвязно ловил себя на одной и той же надоедливой мысли: до чего же мягка и удобна его постель! А ведь с виду самая обычная жесткая койка. Матрас подавался под его тяжестью с ласкающей тело упругостью. Он буквально льнул к телу, причем так настойчиво, что Шевек не в состоянии был отвлечься от этого, даже проваливаясь в сон. И удовольствие, и раздражение, которые этот матрас вызывал у него, носили явно эротический характер. Теми же свойствами обладал и сушильный аппарат, из которого исходил нежно ласкающий тело поток теплого воздуха. «Сушилка» тоже чуть-чуть раздражала Шевека. А дизайн кресел и прочей мебели в кают-компании? Все эти изящные округлости и изгибы, мягкость подушек, гладкость поверхностей, ласковое прикосновение обивки – разве в этом мало было скрытой эротики? Шевек достаточно хорошо знал себя и был уверен: несколько дней без Таквер даже в условиях сильного стресса не способны довести его до того, чтобы ему в изгибе каждой столешницы мерещилась женская фигура. По крайней мере, если рядом действительно не будет женщин.

Неужели все кабинетные ученые на Уррасе дали обет безбрачия?

Он сдался, так ничего для себя и не решив; ничего, он непременно вскоре выяснит все это.

Буквально перед самой посадкой, когда Шевек пристегнул ремни безопасности, к нему забежал Кимое проверить, как чувствует себя его подопечный после заключительной прививки – от чумы, – которая вызвала у Шевека некоторое недомогание.

Кимое протянул ему очередную пилюлю и сказал:

– Это поможет вам легче перенести посадку.

Шевек стоически проглотил лекарство. Кимое быстро сложил свои инструменты и вдруг заговорил торопливо и сбивчиво:

– Доктор Шевек, я не уверен, что мне позволят сопровождать вас на Уррасе, хотя это, в общем, возможно... однако, если у нас не будет более возможности поговорить, я бы хотел сказать вам сейчас... что я... что путешествие с вами было для меня великой честью! Не потому... но потому, что я начал уважать... ценить... просто по-человечески ценить... вашу доброту, истинную доброту...

Шевек не нашел ничего лучшего – голова после прививки дико болела, – как пожать руку Кимое и от всей души предложить:

– Так давай снова встретимся, брат мой!

Кимое вздрогнул, нервно стиснул ему руку – по обычаю уррасти – и поспешил прочь. Уже после его ухода Шевек понял, что говорил на языке правик, которого Кимое не знает, и назвал его «аммар», то есть «брат».

Динамик на стене изрыгал бесчисленные приказы. Пристегнутый ремнями к креслу, Шевек слушал их, чувствуя, как усиливается дурнота: корабль пошел на посадку. Под конец он почти ничего не соображал и надеялся только, что его не вырвет; он так и не понял, сели они уже или нет, когда в каюту снова поспешно вошел Кимое и потащил ничего не соображавшего Шевека в кают-компанию. То место, где до сих пор на экранах светилась в кольце опаловых облаков планета Уррас, было пусто. Зато кают-компания была битком набита народом. Интересно, вяло подумал Шевек, откуда они все появились? Он был приятно поражен тем, что вполне способен не только стоять прямо, но даже ходить, бормотать слова приветствия и пожимать чьи-то руки. Пока что он решил сосредоточиться исключительно на этом, пропуская мимо ушей практически все, что говорилось вокруг. Голоса, улыбки, руки, незнакомые слова, чьи-то имена... Без конца повторялось его имя: доктор Шевек, доктор Шевек... Потом толпа незнакомцев повлекла его куда-то по крытой аппарели; голоса вокруг звучали очень громко, усиленные гулким эхом. Потом гул голосов стал тише, и лица Шевека коснулся ветерок – воздух чужой планеты.

Он поднял голову, сделал еще шаг, споткнулся и чуть не упал: он стоял на твердой земле. И в это мгновение – между началом шага и его завершением – он успел подумать о смерти. Но шаг был завершен: Шевек прибыл на другую планету.

Вокруг расстилался бескрайний серый вечер. Голубые огни, тая в туманной дымке, горели где-то на дальнем краю огромного поля. Воздух, касавшийся его лица и рук, проникавший в ноздри, в горло, в легкие, был холодным и влажным, но не неприятным; и хотя в нем чувствовалось множество различных, неведомых Шевеку запахов, он не казался ему чужим – воздух планеты, бывшей колыбелью его народа, воздух его древней родины.

Кто-то поддержал Шевека под локоть. Мигнули яркие огни – фоторепортеры спешили отснять сцену прибытия дорогого гостя для новостных передач: еще бы, первый человек с луны! Он хорошо смотрелся в кадре – высокий и хрупкий, окруженный знаменитостями, профессорами. Тонкое лицо, густая растрепанная шевелюра, заносчиво задранный подбородок. Фотографам легко было запечатлеть каждую черточку его лица – он, возвышаясь над остальными, тянул шею так, словно пытался увидеть что-то поверх ослепительных вспышек, в небесах, затянутых дымкой тумана, сквозь который почти не видны были звезды и его родная «луна», с которой он прилетел. Журналисты пытались прорваться сквозь кольцо полицейских: «Не будет ли краткого заявления для прессы, доктор Шевек? Хотя бы несколько слов... В столь важный исторический момент...» Но полицейские стояли стеной. Те, кто был с ним рядом, повлекли его куда-то и быстренько усадили в поджидавший их лимузин. Фотографии в газетах получились просто отменные: высокий, длинноволосый инопланетянин, на лице странное выражение – смесь узнавания и печали...

* * *

Дома столицы вздымались в тумане, точно ступени гигантской лестницы с мерцающими неяркими огоньками. Над головой светящимися ревущими лентами проносились поезда. Улицы были точно глубокие коридоры с массивными стенами из камня и стекла; в «коридорах» сутились машины, трамваи... Камень, сталь, стекло, электрические огни. И ни одного лица!

– Это Нио-Эссейя, доктор Шевек. Мы решили, что для начала не стоит выставлять вас на обозрение толпе любопытных. Мы поедем прямо в Университет.

В темноте рядом с ним на мягких подушках автомобильных сидений оказалось пять человек. Все что-то объясняли ему, рассказывая о тех достопримечательностях, мимо которых они проезжали, однако из-за тумана Шевек так и не разобрался, которое из громадных, точно плывущих в сумеречном свете зданий Верховный суд, а которое Национальный музей и где Совет директоров, а где Сенат. Они проехали по мосту над какой-то широкой рекой, точнее, эстуарием. Миллионы огней Нио-Эссейи, точно светлячки, дрожали на темной воде. Потом дорога стала темнее, туман сгустился, водитель сбавил скорость. Фары высвечивали перед ними плотную стену тумана, которая будто отступала под натиском автомобиля. Шевек сидел, чуть наклонившись вперед и глядя перед собой. Взор его не был, впрочем, сосредоточен на чем-то конкретном, как и мысли, хотя выглядел он довольно мрачным и очень напряженным; остальные переговаривались вполголоса, уважая его молчание.

Что являла собой та плотная темная полоса, что непрерывно тянулась, скрытая туманом, вдоль дороги? Может быть, деревья? Неужели с тех пор, как они выехали из города, они едут среди деревьев? В голову пришло чужое слово «лес». Вряд ли они могли прямо из столицы попасть в пустыню. Деревья стеной обступали дорогу с обеих сторон – на следующем спуске с холма и на следующем подъеме; вокруг них в тумане шумел и покачивался лес, сплошь покрывавший всю планету; и в этом лесу, где-то в самой его глубине, замерла в ожидании иная жизнь, множество жизней, множество живых существ, живая темная листва, шелестящая на ночном ветерке... Шевек сидел, погруженный в собственные мысли без остатка, когда машина вдруг вынырнула из окутывавшего речную долину тумана, и на него из темноты, из придорожных кустов, впервые на мгновение глянуло чье-то лицо.

Лицо не было похоже на человеческое. Очень длинное, с его руку до плеча, и белое, как у призрака. Из отверстий, видимо служивших существу носом, вылетали облачка пара, и еще там – это впечатлило его больше всего, хотя ошибиться он не мог! – был глаз! Огромный, темный, печальный. А может, циничный... Увиденный мгновенно в свете фар.

– Кто это? – спросил потрясенный Шевек.

– Осел, по-моему, а что?

– Животное?

– Ну да, животное. Господи! У вас ведь там крупных животных вообще нет, верно? Я и забыл!

– Осел – это вроде лошади, – пояснил кто-то еще.

И третий человек авторитетно заключил:

– Между прочим, это и была лошадь. Таких крупных ослов не бывает!

Им хотелось поговорить с ним, но Шевек их уже не слушал. Он думал о Таквер. Интересно, что бы она прочла в мимолетном и глубоком взгляде темного глаза неведомого существа? Она была уверена, что все живое связано между собой, и наслаждалась идеей своего родства с рыбами в лабораторных аквариумах, точно пыталась обрести опыт существования вне своей человеческой сущности. Таквер сразу поняла бы, что и как ответить этому глазу, глянувшему из темноты под деревьями...

– Впереди Йе Юн. Там вас ожидает целая толпа встречающих, доктор Шевек, в том числе президент и несколько директоров, а также, разумеется, канцлер и прочие руководящие лица государства. Но если вы устали, то со всеми церемониями мы постараемся покончить как можно быстрее.

С церемониями покончили через несколько часов. Потом Шевек так и не смог как следует припомнить, что же они собой представляли. Его буквально вынесло из маленькой темной коробки – их автомобиля – в значительно большую, просто огромную и ярко освещенную коробку, полную людей. Их там были сотни – в помещении с золотистым потолком и хрустальными светильниками. Его представили всем по очереди. Все уррасти были ниже его ростом и почему-то лысые. Даже женщины, которых было совсем немного. Он не сразу догадался, что они, видимо следуя здешнему обычаю или моде, начисто сбрасывают со своих тел и голов всякую растительность – мягкие, пушистые волосы, свойственные его расе. Отсутствие волос они заменяли великолепной одеждой, самых разнообразных цветов и покроя. Женщины были в длинных платьях до пола; груди практически обнажены, а талия, шея и голова украшены драгоценностями и кружевами. Мужчины были в брюках и пиджаках или мундирах красного, синего, фиолетового, золотого, зеленого цвета; из разрезов на рукавах выглядывали пышные кружева. Некоторые мужчины были одеты в долгополые камзолы алого, темно-зеленого или черного цвета, из-под которых виднелись белые чулки на серебряных подвязках. Еще одно слово из языка йотик всплыло в памяти Шевека – он им практически никогда не пользовался, хотя ему очень нравилось, как оно звучит: «великолепие». Эти люди действительно были великолепны. Произносили великолепные речи. Президент, человек со странными холодными глазами, предложил великолепный тост: «За начало новой эры братских отношений между нашими планетами-близнецами и за предвестника этой эры, нашего дорогого и высокопочтимого гостя, доктора Шевека с планеты Анаррес!» Президент Университета разговаривал с Шевеком очаровательно; председатель Совета директоров разговаривал с ним серьезно. Затем Шевек был представлен послам, космонавтам, физикам, политикам – десяткам людей, каждый из которых являлся обладателем длинного титула и множества регалий, причем почетные титулы следовали как до их собственного имени, так и после него; все они что-то говорили Шевеку, и он что-то им отвечал, однако же потом совершенно не помнил, что говорил хотя бы один из них, и хуже всего помнил, что именно говорил он сам. Глубокой ночью он обнаружил, что идет в сопровождении небольшой группы людей под теплым дождиком через какой-то парк или сквер. Под ногами приятно пружинила живая трава: ощущение было знакомым – он вспомнил, как ходил по траве в Треугольном парке в Аббенае. Это ожившее воспоминание и быстрое прохладное прикосновение ночного ветерка пробудили его. Душа выползла наконец из той норы, где пряталась все последнее время.

Сопровождавшие Шевека люди привели его в какое-то помещение, в «его», как они объяснили, комнату.

Комната была очень большая, метров десять в длину, и не разделена никакими перегородками или ширмами.

Те трое мужчин, что по-прежнему оставались при нем, были, видимо, его соседями. Комната была очень красивая; одна стена у нее почти сплошь состояла из окон, каждое из которых было отделено от соседнего изящной колонной, разветвлявшейся наверху, точно дерево, образуя над самым окном легкую арку. На полу лежал темно-красный ковер, а в дальнем конце комнаты в открытом очаге горел огонь. Шевек пересек комнату и остановился у огня. Он никогда еще не видел камина, не видел, чтобы деревья сжигали ради тепла, однако удивляться у него уже не было сил. Он протянул руки к благодатному теплу и присел у камина на скамью из полированного мрамора.

Самый молодой из сопровождавших Шевека людей тоже сел у огня напротив него. Остальные двое все еще о чем-то увлеченно беседовали – речь шла о физике, но Шевек даже не пытался вникнуть в суть их рассуждений. Молодой человек напротив тихо спросил:

– Интересно, что вы сейчас чувствуете, доктор Шевек?

Шевек вытянул ноги и наклонился вперед, чтобы тепло очага коснулось и его лица.

– Тяжесть, – сказал он.

– Тяжесть?

– Ну, возможно, силу тяжести. Собственный вес. А может, просто устал.

Он взглянул на своего собеседника, но в отблесках пламени лицо молодого человека видно было неясно, лишь сверкала золотая цепь у него на шее да рубиново светилась нарядная блуза.

– Простите, я не знаю, как вас зовут...

– Сайо Пае.

– Да, конечно! Пае! Я прекрасно знаю ваши работы о Парадоксе. – Слова почему-то давались ему с трудом, и говорил он точно во сне.

– Здесь есть один бар... – сообщил Пае. – Преподаватели и аспиранты имеют право покупать спиртное в любое время. Не хотите ли чего-нибудь выпить, доктор Шевек?

– С удовольствием! Воды.

Молодой человек исчез и вскоре появился вновь со стаканом воды в руке. Остальные двое также присоединились к ним у камина. Шевек жадно выпил воду и продолжал сидеть, тупо уставившись на пустой стакан в руке – хрупкую, изящной формы вещицу, в золотом ободке которой дрожали отблески пламени. Он каждой клеточкой своего существа ощущал, как относятся к нему эти трое – покровительственно, уважительно. Собственнически.

Он поднял голову и по очереди посмотрел на каждого. Все выжидающе глядели на него.

– Ну что ж, вот вы меня и заполучили, – сказал он и улыбнулся. – Заполучили своего анархиста? Ну и что же вы намерены со мной делать?

2

Анаррес

В квадратном окне, прорубленном высоко в белой стене, виднелось только ясное синее небо. И в самом центре этого синего квадрата – солнце.

В комнате было одиннадцать малышей, в основном по двое – по трое рассаженных в мягкие просторные «манежи», где они сейчас дремали, навозившись всласть. «На свободе» оставались лишь двое самых старших – один, пухленький, спокойный, активно обследовал вешалку, второй, светловолосый, задумчивый, большеголовый, сидел в квадрате солнечного света и внимательно следил за солнечным лучом. В прихожей почтенная седовласая матрона с единственным зрячим глазом беседовала с высоким печальным мужчиной лет тридцати, который рассказывал ей, что мать их ребенка получила назначение в Аббенай и хочет, чтобы мальчик остался здесь.

– Так, может, пусть он здесь и ночует? А, Палат? – спросила женщина.

– Да, наверное, так будет лучше. Сам-то я в общую спальню переезжаю.

– Ничего, не волнуйся. Тут ему все знакомо, он ничего и не заметит. Мне кажется, в Центре по распределению труда и тебе вскоре подыщут назначение в Аббенай. Вы ведь с Рулаг партнеры и оба хорошие инженеры...

– Да, но она... Понимаете, в ней лично заинтересован Центральный институт инженерных исследований. А я, видимо, для них не гожусь... Рулаг предстоит большая работа...

Матрона с понимающим видом кивнула и вздохнула.

– Даже если это и так... – начала было она энергично и тут же смолкла.

Взгляд мужчины остановился на большеголовом малыше, который отца пока не заметил: слишком занят был созерцанием солнечного луча. Толстячок тем временем успел подобраться к нему; двигался он довольно неуклюже: он описался и ему мешал мокрый и тяжелый подгузник. Вообще-то, он подполз к товарищу просто от скуки, желая поиграть, но, оказавшись в квадрате солнечного света и почувствовав тепло, он тяжело плюхнулся на пол рядом с худеньким большеголовым малышом и вытеснил того в тень.

Созерцательное восхищение, владевшее до сей поры светловолосым мальчиком, тут же сменилось гневом. С яростным воплем «Уходи!» он решительно оттолкнул толстячка.

Воспитательница тут же вмешалась, сделав большеголовому замечание:

– Нельзя толкаться, Шев.

Светловолосый мальчик встал. Лицо его пылало от солнца и возмущения. Ползунки сползли с плеч и чуть не падали на пол.

– Мое! – заявил он пронзительным, звенящим голосом. – Мое солнышко!

– Не твое, – спокойно и уверенно возразила воспитательница. – Ничего твоего тут нет. Тут все общее, для всех. И солнышко для всех. Солнышком со всеми нужно делиться. А если не будешь делиться, то и сам не сможешь пользоваться. – И она, подхватив светловолосого малыша, мягко, но решительно усадила его на пол довольно далеко от солнечного пятна.

Толстячок равнодушно наблюдал за происходящим. Зато большеголового такая несправедливость потрясла до глубины души.

– Мое солнышко! – возмутился он и разразился гневными слезами.

Отец взял его на руки и сказал:

– Ну ладно, Шев, успокойся, хватит. Ты же знаешь, что нельзя все забирать себе. Да что с тобой такое? – Голос у него был тихий и чуть дрожал, словно он и сам с трудом сдерживал слезы, а уж его худенький, высокий, светловолосый сынишка ревел вовсю.

– Некоторым все в жизни непросто дается, – сочувственно вздохнула старая женщина, глядя на них.

– Можно я его прямо сейчас домой возьму? Понимаете, наша мама сегодня вечером уезжает...

– Конечно бери. Надеюсь все же, что вскоре и ты получишь назначение в Аббенай, вот вы снова и будете все вместе. – Воспитательница подхватила толстячка с пола и привычным движением пристроила себе на бедро. Лицо ее было печальным, однако единственный глаз весело подмигнул большоголовому малышу. – До свидания, Шев, дорогой мой! Завтра утром придешь, и мы с тобой в грузовик и шофера поиграем, хорошо?

Но мальчик еще не простил ей обиды и на нее даже не посмотрел. Он рыдал, прижимаясь к отцу, обхватив его за шею и пряча лицо от солнышка, так несправедливо у него отнятого.

* * *

В тот день для репетиции оркестру понадобилась вся сцена, танцевальная группа скакала в зале учебного центра, и той небольшой группе, что занималась развитием речи, то есть училась говорить и слушать других, пришлось перебраться в мастерскую, где дети расселись кружком прямо на полу. Первым выступить вызвался восьмилетний малыш, долговязый, с длинными руками и ногами. Он стоял, вытянувшись в струнку, – так прямо обычно держатся только физически крепкие и здоровые дети. Его не определившееся еще личико сперва чуть побледнело от волнения, потом вспыхнуло румянцем. Он выжидал, когда остальные успокоятся и будут готовы его слушать.

– Ну, Шевек, начинай, – сказал преподаватель.

– У меня есть одна идея...

– Громче, – велел ему преподаватель, коренастый молодой человек лет двадцати с небольшим.

Мальчик растерянно улыбнулся:

– Видите ли, я вот что подумал... Скажем, вы кидаетесь камнями. В дерево, например. Кинули камень, и он должен долететь и удариться о дерево. Правильно? Но в том-то и дело, что долететь он не может! Потому что... Можно мне взять грифельную доску? Смотрите: вот вы, а вот дерево, – он быстро чертил на доске, – ну, то есть как будто дерево, а вот камень – видите? – на середине пути от вас к дереву? – Дети захихикали, поскольку Шевек довольно похоже изобразил смешное дерево-холум, и он тоже улыбнулся. – Чтобы попасть в дерево, камень должен был сперва пролететь это расстояние, верно? А потом еще лететь и оказаться на середине следующего отрезка пути, то есть вот здесь. Получается, что не важно, как далеко камень уже пролетел, – всегда найдется такая точка, где значение имеет только время, проведенное им в полете, и точка эта всегда находится посередине отрезка, заключенного между последней точкой на пути камня к дереву и конечной, то есть самим деревом...

– Ты считаешь, что нам это интересно? – прервал его преподаватель, обращаясь не к Шевеку, а к остальным детям.

– А почему все-таки камень никак не может долететь до дерева? – спросила девочка лет десяти.

– Потому что ему всегда остается пролететь еще как бы вторую половину оставшегося пути, – сказал Шевек. – Она ему всегда еще как бы предстоит... поняла?

– А может, ты попросту не слишком хорошо прицелился? – с натянутой улыбкой спросил преподаватель.

– Это не важно, как прицелиться! Камень просто не может долететь до цели, вот и все.

– Кто тебе это сказал?

– Никто. Я вроде бы сам это увидел. По-моему, на самом деле камень...

– Довольно.

Остальные дети, до того спорившие и болтавшие, почему-то вдруг притихли. Светловолосый мальчик умолк, вид у него был испуганный и обиженный.

– Речь – это процесс взаимный, искусство общения, искусство сотрудничества. А ты хочешь говорить один, то есть проявляешь обыкновенный эгоизм.

Из зала, где репетировал оркестр, доносилась негромкая веселая музыка.

– Кроме того, хотя сам ты этого пока не понимаешь, ты вовсе не вдруг и не случайно до всего этого «додумался». Я, например, читал нечто очень похожее в одной книжке...

Шевек так и впился в него взглядом:

– В какой? А она здесь есть?

Преподаватель не выдержал и вскочил. Он был в два раза выше и в три раза тяжелее своего оппонента; по лицу его было явственно видно, что он этого мальчишку терпеть не может, однако угрозы в его поведении не чувствовалось – всего лишь желание поддержать свой авторитет, слегка поколебленный раздраженной реакцией на странные речи малыша.

– Нет! Здесь ее нет! И перестань думать только о себе! – Он сдержался и сказал уже спокойнее, «менторским» тоном: – Вот вам, дети, пример того, чем мы совершенно не должны заниматься на уроках по развитию речи. Речь – это прежде всего взаимный обмен, а Шевек пока не готов понять это, как и большинство из его сверстников из младшей группы, потому присутствие его на наших уроках крайне нежелательно, ибо нарушает нормальный учебный процесс. Ты ведь и сам это чувствуешь, Шевек, верно? Я бы предложил тебе поискать другое занятие, более соответствующее твоему теперешнему уровню развития.

Больше никто не сказал ни слова. Тишина, нарушаемая лишь звуками музыки из зала, тяжело повисла в мастерской. Шевек отдал преподавателю грифельную доску, выбрался из круга учеников и вышел в коридор. Закрыв за собой дверь, он остановился и услышал, как дети принялись под руководством преподавателя излагать по очереди только что выдуманную дурацкую историю с продолжением. Шевек прислушался к оглушительным ударам своего сердца; в ушах у него звенело – но это были вовсе не звуки цимбал: так всегда звенит в ушах, когда очень стараешься не заплакать; он это уже несколько раз за собой замечал. Ему этот звон был неприятен; и думать о том камне и дереве тоже не хотелось, так что он постарался переключиться на мысли о своем излюбленном Квадрате. Он был сделан из одних чисел, а числа всегда такие спокойные и надежные. Когда Шевек находился в затруднительном положении, он всегда мог уйти в мир цифр и чисел – уж они-то недостатков не имели. Впервые он представил себе этот Квадрат уже довольно давно; ему казалось, что Квадрат занимает то же место в пространстве, что музыка – во времени. Квадрат был красивый, из девяти первых интегралов с цифрой «5» в центре. И сколько ни прибавляешь ряды цифр, все равно в итоге выходит то же самое. Все неравенства каким-то образом обретали решение. Любо-дорого глядеть! Ах, если бы попасть в такую группу, где всем интересно говорить о числах! Но в учебном центре всего двум-трем ученикам старших классов фокусы с числами были действительно интересны, однако у старшеклассников было много других занятий... И все-таки что это за книга, о которой упомянул преподаватель? А вдруг она вся посвящена числам? Может быть, в ней найдется объяснение, как этому дурацкому камню долететь до дерева? Глупо он все-таки поступил, рассказав эту шуточную задачку про камень и дерево! Никто даже не понял, что это шутка! Преподаватель прав: он думал только о себе. Голова у него разболелась. И он снова стал думать о числах, о тихом мире цифр.

Если бы нашлась книга, целиком состоящая из чисел, это была бы самая правдивая книга на свете! И самая справедливая. Потому что мысли, выраженные с помощью слов, никогда полностью не соответствуют действительности, получаются какими-то перекрученными, налетают друг на друга, толкаются, вместо того чтобы соответствовать друг другу и идти стройными рядами. Хотя там, в глубине, под этими словами, как и в центре того Квадрата, все ровно и правильно, как и должно быть. Если вместо слов использовать цифры, ничего не было бы

при этом потеряно. Если способен сквозь цифры понимать законы чисел, легко поймешь и системы уравнений, и весь дальнейший путь... Поймешь основы мира. А они очень надежны. Как цифры.

* * *

Шевек давно научился ждать. Стал прямо-таки первоклассным специалистом по ожиданию. Сперва он постиг это искусство, ожидая свою мать Рулаг, – она уехала так давно, что он этого уже и не помнил. Еще более отточенным искусство ожидания стало, когда он ждал своей очереди, своей доли, своей возможности разделить ее – с кем-то. В возрасте восьми лет он спрашивал: «Как? Почему? А что, если?..» Но очень редко спрашивал: «Когда?»

Он ждал, когда за ним придет отец, чтобы забрать его «домой». Ждать приходилось долго: шесть декад. Палат согласился на временную работу в ремонтной бригаде по обслуживанию водоочистой установки в горном массиве Драм, после чего намерен был провести десять дней на пляжах в Маленнине – плавать, загорать и заниматься сексом с женщиной по имени Пипар. Все это он серьезно объяснил своему сынишке. Шевек ему верил, и Палат заслуживал этого доверия. Прошли долгие шестьдесят дней ожидания, и он появился в спальне детского интерната «Широкие Долины» – высокий, худой, с печальными глазами. Еще более печальными, чем всегда. Занятия сексом не принесли ему радости. Для этого ему нужна была Рулаг, но ее с ним не было. Увидев сына, Палат улыбнулся и сморщился, будто от боли: Шевек был очень похож на мать.

Им нравилось бывать вместе.

– Палат, а ты видел когда-нибудь такие книжки, в которых были бы только цифры?

– Что ты имеешь в виду? Книжки по математике?

– Наверное.

– Вот такие?

Палат вытащил из кармана куртки маленькую книгу. Она, как и большая часть книг на Анарресе, была в зеленом переплете с Кругом Жизни посередине и набрана очень мелким шрифтом, с крайне узкими полями: бумага в их мире исключительно ценилась; за нее приходилось расплачиваться множеством срубленных деревьев-холум и огромным количеством человеческого труда. Так любил повторять библиотекарь из учебного центра, если случайно испортишь страницу и просишь у него новую тетрадку. Палат раскрыл книжку и протянул ее Шевеку. На развороте были лишь столбцы цифр. В точности как ему и мечталось! Вот оно, соглашение о вечной справедливости! «Таблицы корней и логарифмов» – так гласил заголовок над Кругом Жизни.

Мальчик некоторое время внимательно изучал первую страницу.

– А для чего они? – спросил он; эти столбцы цифр явно были здесь не просто для красоты.

Его отец-инженер, сидя с ним рядом на жестком диване в холодной, плохо освещенной гостиной интерната, с готовностью принялся объяснять, что такое логарифмы. Два старика на другом конце комнаты кудахтали от смеха над игрой «Попробуй догони!». Вошли двое подростков-старшеклассников, спросили, свободна ли сегодня отдельная комната, и направилась прямо туда. Дождь замолотил было по металлической крыше одноэтажного здания, но быстро перестал. Дождь здесь никогда не шел долго. Палат вытащил свою логарифмическую линейку и показал Шевеку, как ею пользоваться; а Шевек зато изобразил ему свой Квадрат и рассказал о принципе его организации. Было уже очень поздно, когда оба заметили это. Потом они бежали в наполненной чудесными запахами дождя темноте по скользкой земле к корпусу младшеклассников и получили для порядка небольшой выговор от дежурной. Палат и Шевек быстро обнялись, поцеловались, вздрагивая от сдерживаемого смеха, и мальчик бросился к

окну в своей огромной спальне, откуда ему хорошо было видно, как отец шагает по темноватой и единственной улице Широких Долин – прямо по блестящим в свете редких фонарей лужам.

Мальчик нырнул в постель прямо с грязными ногами и сразу заснул. Ему снилось, что он идет по дороге через пустыню и далеко впереди видит какую-то линию, пересекающую дорогу. Вблизи оказывается, что это стена, раскинувшаяся от горизонта до горизонта, высокая и прочная. Здесь дорога кончалась.

Он должен был идти дальше, но стена преграждала ему путь. В душе рос болезненный сердитый страх. Он должен идти дальше, иначе он никогда не сможет вернуться домой! Но стена стояла незыблемо.

Он колотил по ней кулаками, что-то гневно орал, но вместо слов изо рта вылетало какое-то странное карканье. Испуганный этим, он присел у стены на корточки и тут услышал чей-то голос: «Смотри...» Это был голос отца, и вроде бы мать его, Рулаг, тоже была где-то рядом, только ее он не видел (ведь он совсем не помнил ее лица). Оказалось, что Рулаг и Палат стоят на четвереньках в темноте под самой стеной и выглядят почему-то гораздо крупнее и неповоротливее остальных людей; и вроде бы они вообще не люди... Оба указывали ему пальцем куда-то вниз, на землю, – там, в отвратительной грязи, где даже не росло ничего, лежал камень. Он был такой же темный, как стена, но то ли на нем, то ли внутри его светилась какая-то цифра; «5», подумал Шевек сперва, потом решил, что «1», потом понял, что это такое, – совершенное множество. «Это краеугольный камень», – подтвердил чей-то знакомый и дорогой голос, и Шевек охватила пронзительная радость. В густой тени, как оказалось вдруг, никакой стены уже не было, и он понял, что вернулся назад, домой!..

Потом он так и не смог вспомнить всех подробностей этого сна, но то пронзительное ощущение радости не забылось. Никогда он не испытывал ничего подобного – так уверенно этот сон утверждал Постоянство: все равно что посмотреть на источник света, который горит ровно и никогда не гаснет. Шевек считал, что это вообще никакой не сон, хотя, безусловно, спал и вроде бы видел все во сне. Вот только, несмотря на ощущение бесконечной надежности, которое давал сон, он туда снова вернуться не мог – не помогло бы ни страстное желание, ни самые решительные поступки. Он мог только вспоминать об этом видении. Когда же ему снова снилась та стена, а это с ним случалось довольно часто, то эти сны были удивительно мрачные и никакого исхода, никакого решения не содержали.

* * *

Они узнали слово «тюрьма» из «Жизни Одо», которую все в их «исторической» группе тогда читали. В книге было много неясного, а в Широких Долинах не нашлось ни одного приличного историка, способного разъяснить детям непонятные места. Впрочем, когда они добрались до описания жизни Одо в крепости Дрио, понятие «тюрьма» стало более или менее ясным. А когда обслуживавший сразу несколько учебных центров большого района преподаватель истории заехал наконец в их городок, он отвечал на их вопросы с такой неохотой, с какой благовоспитанные взрослые вынуждены бывают разъяснять детям значение того или иного неприличного слова. Да, сказал он, тюрьма – это такое место, куда Государство помещает людей, которые не подчинились его Законам. А почему эти люди не могут уйти оттуда? Из тюрьмы уйти нельзя, там все двери заперты. Заперты? Да, как запирают дверцы грузовика на ходу, чтобы ты оттуда не выпал, глупый! Но что же они там делают, в этой тюрьме, находясь все время в одной и той же комнате? Ничего. Там нечего делать. Вы же видели на картинках, как жила Одо в тюремной камере в Дрио? Да, они видели: смиренно поникшая седая голова, стиснутые руки, застывшая в неподвижности человеческая фигурка среди мрачных теней, мечущихся по стенам... Иногда заключенных, правда, приговаривают к принудительным работам. Приговаривают? Ну, это означает, что судья – тот человек, которого Закон облакает особой

властью, – приказывает им выполнять ту или иную тяжелую физическую работу. Приказывает? А если они не захотят? Тогда их заставят силой или даже побьют, если будут упорствовать... Дети напряженно застыли: потрясение было слишком велико! И как внимательно они слушали, одиннадцати-двенадцатилетние дети, ни один из которых никогда в жизни не получил даже шлепка и никогда не видел, чтобы били других, если не считать обычных детских потасовок и «выяснения отношений».

Но самый главный вопрос, который не давал покоя всем, задал Тирин:

– Вы хотите сказать, что целая куча людей способна была избить одного человека?

– Именно так.

– Почему же другие их не останавливали?

– У тюремной стражи всегда есть оружие. А у заключенных его нет, – сказал учитель истории. Он был чрезвычайно смущен: его вынуждали говорить о совершенно отвратительных вещах!

Их тогдашняя компания составила по сходному упрямству характеров. В нее входили Тирин, Шевек и еще трое мальчишек. Девочек они не принимали, хотя и сами не смогли бы объяснить почему. Тирин отыскал идеально подходящую «тюрьму» – под левым крылом учебного центра. В этой норе можно было только сидеть или лежать. С трех сторон ее «стены» были образованы пересечением бетонных фундаментов, а сверху были перекрытия пола. Единственную открытую сторону запросто можно было закрыть тяжелой плитой из «пенного камня». Но ведь дверь в тюрьме полагалось ЗАПИРАТЬ. Следуя экспериментальным путем, они обнаружили, что если подпереть плиту снаружи клиньями, то изнутри ее ни за что не откроешь.

– А как же свет?

– Никакого света! – возмутился Тирин. О таких вещах он всегда говорил уверенно и авторитетно: его богатое воображение позволяло ему проникнуть в самую их суть, дело было даже не в имевшихся под рукой фактах. – В той крепости, в Дрио, узников держали в темноте годами.

– Ну а дышать чем? – спросил Шевек. – Эта плита слишком плотно закрывает проход. В ней нужно хотя бы дырку проделать.

– Чтобы проделать дырку в такой плите, знаешь сколько часов понадобится? И вообще, кто это станет сидеть в тюрьме так долго, чтоб ему воздуха не хватило?

В ответ последовал целый хор возражений – желающими «посидеть в тюрьме» оказались почти все.

Тирин с сомнением посмотрел на приятелей:

– Психи вы, и больше ничего! Неужели кому-то из вас на самом деле хотелось бы попасть в такую ловушку? И для чего? – Вообще-то, именно он придумал построить «тюрьму», однако самого строительства было с него более чем достаточно; он совершенно не понимал, почему нельзя просто вообразить себя узником и почему все непременно стремятся сами залезть в эту нору и попробовать открыть изнутри запертую, неоткрывающуюся дверь.

– Я хочу понять, на что это похоже, – сказал двенадцатилетний Кадагв, широкоплечий серьезный мальчик, признанный авторитет среди остальных.

– Да ты подумай башкой-то! – разъярился Тирин, но Кадагва дружно поддержали почти все.

Шевек притащил из мастерской сверло, и они просверлили двухсантиметровое отверстие в «двери» примерно на высоте носа. Это отняло у них целый час, как и предсказывал Тирин.

– Как долго ты хочешь там оставаться, Кад?

– Послушай, – сказал Кадагв, – если я узник, то сам я этого решить никак не могу. Я же не свободен. Это вы должны решать, когда меня выпустить.

– Верно. – Шевеку подобная логика показалась убедительной.

– Только ты не слишком долго сиди, Кад, мне тоже хочется! – сказал самый младший из их компании, Гибеш.

«Заключенный» ответом его не удостоил. Он вошел, точнее, заполз в свою темницу, «дверь» приподняли, с грохотом опустили и подперли клиньями снаружи. Четверо «тюремщиков» делали все с огромным энтузиазмом. Потом они сгрудились у вентиляционного отверстия, пытаясь увидеть «узника», однако внутри была непроницаемая тьма.

– Эй, не высасывайте у него из камеры весь воздух!

– Лучше вдуньте туда немного!

– Нет, лучше ты ему в эту дырочку пукни!

– Ну и сколько он у нас там будет сидеть?

– Час.

– Нет, три минуты!

– Пять лет!

– Ладно, хватит. До отбоя у нас четыре часа. Этого вполне достаточно.

– А я тоже хочу посидеть в тюрьме!

– Хорошо, мы его выпустим, а тебя туда на всю ночь посадим.

– Нет уж! Я лучше завтра!

Через четыре часа они вытащили клинья и выпустили Кадагва на свободу. Он вышел оттуда столь же невозмутимым, каким вошел туда, и сказал только, что очень хочет есть и что, вообще-то, ничего особенного: большую часть времени он просто проспал.

– Неужели снова туда полез бы? – поддразнил его Тирин.

– Запросто.

– Нет, второй я...

– Заткнись, Гиб. Ну так что, Кад? Сядешь снова в тюрьму, если мы тебе не скажем, когда в следующий раз выпустим?

– Запросто.

– И есть просить не будешь?

– Вообще-то, заключенных кормят, – вмешался Шевек. Это тоже было одно из непонятных мест в «истории с тюрьмой».

Кадагв пожал плечами. Его высокомерие и мужественное спокойствие были просто невыносимы!

– Эй, – обратился Шевек к двум младшим мальчикам, – слетайте-ка на кухню да попросите там что осталось и воды в бутылку налейте. – Потом он повернулся к Кадагву. – Мы тебе целый мешок еды с собой дадим, так что можешь торчать в этой норе, пока не надоест.

– Пока ВАМ не надоест, – поправил его Кадагв.

– Ладно, договорились. А ну на место! – Самоуверенность Кадагва вызвала в Тирине желание подыграть ему; Тирин вообще обладал задатками актера-сатирика. – Ты ведь заключенный? Так что не смей возражать! Ясно? А ну повернись! Руки на голову!

– Это еще зачем?

– Хочешь вылететь из игры?

Кадагв мрачно глянул на него.

– Ты не имеешь права спрашивать тюремщиков. А если будешь упрямяться, так мы тебя и побить можем. Ты должен просто принимать все как должное, в тюрьме тебе никто не поможет. И даже если мы тебе яйца отобьем, ты нам ответить не сможешь. Потому что ты не свободен. Ну что, все еще хочешь в тюрьму?

– Конечно. Давай, ударь меня.

Тирин, Шевек и «заключенный» стояли лицом к лицу в странных застывших позах; стало уже темно, лишь слабо светил фонарь неподалеку; тяжелые бетонные стены высокого фундамента окружали их с трех сторон.

Тирина лукаво усмехнулся:

– Ты мне не советуй, что делать, везунчик. Заткнись лучше и полезай в свою нору! – И когда Кадагв послушно повернулся и полез в нору, Тирин изо всех сил толкнул его обеими руками в спину.

Кадагв упал на четвереньки и глухо вскрикнул – то ли от удивления, то ли от боли – и сел, прижимая к груди руку и засунув в рот палец, который, похоже, вывихнул. Шевек и Тирин молчали. Они, изобразив на лице полное равнодушие, играли роль «тюремщиков». Вот только обоим уже казалось, что скорее это роль «играет» ими. Младшие мальчики притащили хлеба из плодов дерева-холум, дыню и бутылку воды; по дороге они, видимо, все время болтали, однако, приблизившись к «тюрьме», тут же смолкли: окутывавшая это место странная тишина подействовала и на них. Пищу и воду просунули внутрь, дверь «заперли» с помощью клиньев. Кадагв остался один в кромешной темноте. Остальные собрались у фонаря. Гибеш прошептал:

– А писать ему где же?

– Туда же, в постельку, – язвительно ответил Тирин.

– А если ему по-большому захочется? – не унимался Гибеш, потом вдруг ойкнул и пронзительно расхохотался.

– И что ты в этом такого смешного нашел?

– Я представил, как он... ведь там совсем темно, он ничего не видит... – Гибеш так и не смог ничего объяснить – вся компания вдруг залилась диким хохотом с подвываниями. Они смеялись, пока хватало воздуха, отлично зная, что «узник» слышит их ржание.

Давно миновал час отбоя, даже взрослые по большей части уже легли спать, хотя на территории интерната кое-где еще горели огни. Улица была пуста. Мальчишки со смехом и громкими криками прошли по ней, будто опьянев от осознания своей общей тайны и радуясь, что мешают спать всем остальным, что нарочно делают гадости. Они перебудили половину детей в своем корпусе, устроив в спальнях игру в салки прямо среди кроватей. Никто из взрослых не вмешивался; вскоре безумие улеглось само собой.

Тирина и Шевек еще долго сидели вместе и о чем-то шептались. Оба решили, что Кадагв сам попросился, вот пусть теперь и посидит в тюрьме полных двое суток.

Когда в полдень они встретились у мастерской по вторичной переработке древесины и мастер спросил, где Кадагв, Шевек быстро глянул на Тирину и ничего не ответил. Он чувствовал себя чрезвычайно умным и хитрым. Но Тирин холодно ответил мастеру, что Кадагв, должно быть, временно перешел в другую группу. Шевек был потрясен этой спокойной ложью. От тайной власти над кем-то ему было не по себе: ноги чесались, уши горели. Когда мастер спустя некоторое время заговорил с ним, он даже вздрогнул; его терзала какая-то неведомая тревога, страх, а может, еще что-то – он никогда не испытывал ничего подобного прежде; отчасти это было похоже на смущение, но только гораздо хуже: что-то очень плохое было внутри, в глубине души... Он все время думал о Кадагве, шпаклюя и зашлифовывая песком дырки от гвоздей, оставшиеся в досках из древесины холум, и изгнать несчастного «узника» из собственных мыслей оказалось ему не под силу. Это было просто ужасно!

Гибеш, стоявший на часах после обеда, сообщил Тирину и Шевеку с виноватым видом:

– По-моему, Кад там что-то говорил... И голос у него был такой странный!..

Воцарилось молчание. Потом Шевек сказал:

– Сейчас мы его выпустим.

– Да брось ты, Шев, не будь сентиментальной девчонкой! Нечего тут альтруизм разводить! – возмутился Тирин. – Пусть отсидит свое! Посмотрим, как он потом воображать будет!

– Никакого альтруизма я не развожу! Я, черт побери, снова себя уважать хочу, – огрызнулся Шевек и бегом бросился к учебному центру.

Тирин слишком хорошо его знал, а потому времени на споры тратить не стал и побежал следом. Младшие, одиннадцатилетние, тоже поспешили. Ребята стремительно нырнули под фундамент, Шевек вышиб один клин, Тирин – другой, «дверь» с глухим стуком упала наружу...

Кадагв лежал на земле, свернувшись клубком. Потом сел, встал на четвереньки и выполз наружу. Он как-то странно жался к земле и все время щурился. Впрочем, выглядел он вроде бы как обычно. Вот только запах, который вырвался из «тюрьмы» с ним вместе, был поистине ужасен. Отчего-то у Кадагва начался понос, за ночь совершенно его измучивший, и в «темнице» творилось нечто невообразимое. На рубашке Кадагва виднелись отвратительные желтоватые фекальные потеки. Увидев их при свете фонаря, он попытался было прикрыть позорные следы руками, но никто ничего ему не сказал.

Когда они, выбравшись из-под дома, направлялись кружным путем к своей спальне, Кадагв спросил:

- Сколько времени я там пробыл?
- Около тридцати часов, включая первые четыре.
- Довольно много, – сказал Кадагв не слишком убежденно.

Доставив Кадагва в ванную, Шевек едва успел добежать до уборной, где его буквально вывернуло наизнанку. Спазмы не прекращались минут пятнадцать. Он весь дрожал, ноги были как ватные. Наконец рвота прекратилась. Умывшись, Шевек пошел в общую комнату и немного посидел там, проглядывая книжки по физике, спать он лег довольно рано. Больше никто из пятерых мальчишек и близко не подходил к «тюрьме». И никто ни разу не заговорил о случившемся; только Гибеш как-то расхвастался перед старшеклассниками, но те даже не поняли, о чем он говорит, и Гибеш, спохватившись, сам сменил тему.

* * *

Высоко в небе над Северным региональным институтом благородных и естественных наук стояла луна. Четверо юношей лет пятнадцати-шестнадцати сидели на вершине холма среди раскидистых лап стелющегося дерева-холум и смотрели то вниз, на институт, то вверх, на сияющую луну.

- Смешно, – сказал Тирин, – а раньше я никогда не думал...

Тут же последовали насмешливые комментарии остальных по поводу очевидности этого утверждения.

– Я никогда не думал, – продолжал как ни в чем не бывало Тирин, – что и там, на Урресе, в такой вот вечер могут сидеть на вершине холма какие-то люди, смотреть на наш Анаррес и говорить при этом: «Ах, какая сегодня луна!» Наша планета для них – луна, а для нас луна – их родная планета.

- Ну и где здесь Истина? – уронил невозмутимый Бедап и зевнул.
- Что на вершине холма всегда кто-то сидит! – ответил Тирин.

Они продолжали смотреть на бирюзовую луну, сияющую в небесах, уже не совсем круглую – полнолуние миновало сутки назад. Арктическая ледяная шапка на Урресе слепила глаза.

– Сейчас там, на севере, солнечно, – сказал Шевек. – А вон то коричневое пятно – это А-Йо.

– Где они валяются гольшом на пляжах, – подхватил Кветур, – подставив солнышку украшенные бриллиантами пупки и лысые головы.

Последовало молчание.

Сюда, на вершину холма, они пришли исключительно ради мужской компании. Присутствие девушек действовало на них пока что подавляюще. Порой им вообще начинало казаться, что вокруг одни девушки. Куда ни посмотришь – девушки; даже во сне они видели девушек! Все они уже успели попробовать себя в искусстве плотской любви, и теперь кое-кто от отчая-

ния пытался никогда более этого не пробовать. А результат был, как ни крути, один: девушки никуда из их жизни не девались.

Три дня назад на занятиях по истории движения одонийцев им показывали учебный фильм, и зрелище безупречно ограненных драгоценных камней на гладких, загорелых, смазанных маслом женских животах с тех пор преследовало каждого из них неустанно.

Они также видели страшные кадры: тела детей с такой же пушистой «шерсткой» на теле, как и у них самих в детстве; мертвые дети были свалены, точно металлолом, на морском берегу, и какой-то человек поливал их горючим, а потом поджег. «Голод в провинции Бачифойл, где проживает народность тху, – слышался голос за кадром. – На пляжах сжигают тела детей, умерших от голода и болезней. А в это время на курорте Тиус, в семистах километрах отсюда, жители государства А-Йо (и тут как раз появились украшенные драгоценностями пупки) – женщины, которых мужчины-собственники содержат исключительно для удовлетворения собственных сексуальных потребностей (здесь диктор использовал слово из языка йотик, для которого в языке правик эквивалента не было), целыми днями валяются на песке и бездельничают, ожидая, что им приготовят и подадут обед те, кто к классу собственников отнюдь не принадлежит». Показали и фрагмент такого обеда: нежные жующие рты, улыбающиеся губы, изящные пальчики тянутся к деликатесам на серебряных блюдах... Потом снова в кадре оказалось слепое, ничего не выражающее лицо мертвого ребенка – рот открыт, пустой, черный, сухой... «И все это рядом. Бок о бок», – тихо проговорил голос за кадром.

Однако мальчишкам все же больше запомнились иные, бесконечно тревожащие их кадры.

– Как давно сняты эти фильмы? – спросил Тирин. – Они что, сделаны еще до заселения? Или все-таки современные? Никогда ведь не скажут!

– А какая разница? – возразил Кветур. – Они жили так на Уррасе еще до одонийской революции, когда все последователи Одо переселились на Анаррес. Так что, скорее всего, ничего там особенно не переменялось. – И он указал на огромную сине-зеленую луну.

– Откуда нам знать? Может, их там вообще уже нет.

– Что ты хочешь этим сказать, Тир? – спросил Шевек.

– Во всяком случае, если этим фильмам лет сто пятьдесят, то теперь на Уррасе все, возможно, совсем по-другому. Я не утверждаю, что это на самом деле так, но если бы вдруг такое случилось, то как бы мы об этом узнали? Мы туда не летаем, мы с ними переговоров не ведем, никаких культурных связей между нашими планетами нет... Мы действительно понятия не имеем, что происходит сейчас на Уррасе!

– Об этом прекрасно осведомлены члены Координационного совета по производству и распределению, из охраны космопорта. Они разговаривают с теми... ну, с пилотами грузовиков – уррасти. Они просто должны быть в курсе – ведь мы поддерживаем с Уррасом торговые отношения; к тому же нам необходимо знать, насколько уррасти в настоящий момент для нас опасны. – Слова Бедапа казались вполне разумными, однако ответ Тирин прозвучал неожиданно резко:

– В таком случае все знают только люди из Координационного совета, но не мы!

– И мы знаем! – воскликнул Кветур. – Я, например, с пеленок слышу об Уррасе, хотя мне совершенно безразлично, увижу ли я какой-нибудь новый фильм о городах этих вонючих уррасти!

– В том-то и дело, – сказал Тирин с видом человека, следующего неумолимой логике доказательств. – Весь материал об Уррасе, доступный студентам, одинаков. Только и слышишь: отвратительно, аморально, «экскрементально»! Но послушай: если на Уррасе действительно было настолько плохо, когда его покидали переселенцы, то как же ему удалось столь успешно просуществовать еще сто пятьдесят лет? Если их общество настолько «больно», то

давным-давно должно было бы умереть и разложиться! Почему же этого до сих пор не произошло? И чего это мы так их боимся?

– Боимся заразиться, – буркнул Бедап.

– А что, мы настолько слабы? И почему мы боимся хоть немного показать себя миру? В любом случае все в их обществе «больны» быть не могут. И каким бы оно ни было, кое-кто в нем непременно должен был сохранить порядочность. Здесь ведь все люди тоже очень разные, верно? Неужели на Анарресе все такие уж верные последователи Одо? Взять хотя бы этого сопляка Пезуса!

– Но в больном организме даже отдельные здоровые клетки обречены на гибель, – заметил Бедап.

– Господи, да используя принцип Аналогии, можно доказать все, что угодно, и ты это прекрасно знаешь. И все-таки откуда нам известно, что их общество так тяжело больно?

Бедап задумчиво погрыз ноготь и спросил:

– То есть, по-твоему, Координационный совет и Учебный синдикат нам лгут?

– Нет. Я сказал только, что мы питаемся теми сведениями, которыми нас кормят. А какими сведениями нас кормят? – Темнокожее курносое лицо Тирина было ярко освещено лунным светом. – Минуту назад Квет очень четко это сформулировал. Он прекрасно усвоил урок: отвернитесь от Урраса, ненавидьте Уррас, бойтесь Урраса.

– А почему бы и нет? – спросил Кветур. – Ты только вспомни, как они обошлись с нашими предками – одонийцами!

– Они отдали нам свою луну, не так ли?

– Да, чтобы держать нас подальше! Чтобы мы не разрушили их государство собственников! Они предоставили нам возможность строить свое общество справедливости далеко-далеко от них, на луне. И я уверен, как только они от нас избавились, то сразу принялись создавать новые типы государственных машин и новые армии – ведь на Урресе не осталось никого, кто мог бы их остановить. Неужели ты думаешь, что, если мы откроем перед ними ворота нашего космопорта, они явятся к нам как друзья и братья? Да их миллиард, а нас всего двадцать миллионов! Они просто выметут нас отсюда поганой метлой или превратят нас... как это называется? Ну есть такое слово?.. Да, в рабов! И заставят работать в шахтах!

– Хорошо. Я согласен, что Урраса, возможно, и следует опасаться. Но почему нужно ненавидеть всех его жителей? Ненависть попросту нефункциональна; зачем же нас учат ненавидеть? А не потому ли, что, если мы узнаем, каков Уррас в действительности, он может нам даже понравиться? Кое-что хотя бы? Хотя бы некоторым из нас? И не в том ли дело, что КСПР не столько опасается тех немногочисленных уррасти, что прилетают сюда, сколько того, что кое-кто из анаррестии захочет полететь туда?

– Полететь на Уррас? – изумленно переспросил Шевек.

Они спорили потому, что им нравилось спорить, нравилось быстро пробегать свободной мыслью по тропам возможностей, нравилось подвергать сомнению то, что казалось несомненным. Они были умны, разум их уже отчасти был дисциплинирован и приобщен к ясности научного мышления, и было им всего по шестнадцать лет. Но азарт дискуссии, радость спора для Шевека вдруг померкли, как – чуть раньше – для Кветура. Он ощутил смутную тревогу.

– Но кто может этого захотеть? – спросил он. – Зачем?

– Чтобы выяснить наконец, каков этот иной «больной» мир. Увидеть собственными глазами, что такое «лошадь»!

– Ну это уже просто детский визг на лужайке! – сказал Кветур. – Говорят, что жизнь есть и в других солнечных системах, – он обвел рукой обмытый лунным светом горизонт, – так что нам с того? Мы имели счастье родиться здесь!

– Но если наше общество лучше, чем все остальные, – сказал Тирин, – то нам следовало бы помочь им стать такими, как мы. Однако как раз это нам и запрещено.

– Уж и запрещено! Совершенно несвойственное нашему миру слово. Кто запрещает-то? Ты слишком обобщаешь. – Шевек наклонился вперед и заговорил с особым жаром: – Порядок не значит «приказ». Мы не улетаем с Анарреса, потому что мы и есть Анаррес. Будучи Тирином, ты не можешь сменить свое тело на другое, даже если тебе и захочется попробовать стать кем-то еще и посмотреть, каково это. Вот только это невозможно. Хотя силой тебя никто от подобных попыток удерживать не станет, правда ведь? Разве нас здесь держат насильно? Да и где он, аппарат насилия? Где законы, правительство, полиция? Нету. Здесь только мы, одонийцы, – все вместе и каждый сам по себе. Твоя сущность – быть Тирином, а моя – Шевеком, и наша общая сущность – быть одонийцами, ответственными друг перед другом. В этой ответственности и заключается наша свобода. Избегать этой ответственности – значит эту свободу утратить. Неужели ты действительно хотел бы жить в обществе, где у тебя нет ни перед кем никакой ответственности, а стало быть, и никакой свободы, никакого выбора, только пресловутый фальшивый выбор между соблюдением закона или его нарушением? Причем последнее влечет за собой наказание. Неужели ты действительно хотел бы жить – в тюрьме?

– Господи, конечно же нет! Я что, уж и сказать ничего не могу, черт побери? Тяжело все-таки с тобой говорить, Шев! Ты сперва молчишь-молчишь, а потом обрушиваешь на человека целый грузовик железобетонных аргументов, и тебе все равно, что там такое валяется и стонет, окровавленное и жалкое, под этой грудой...

Шевек успокоился и с победоносным видом чуть отодвинулся от Тирина.

И тут Бедап, коренастый, с квадратным лицом и дурацкой привычкой грызть ногти, вдруг заявил:

– А я считаю, что точка зрения Тира имеет право на существование! Хорошо было бы все-таки узнать, правду ли нам рассказывают об Уррасе.

– Ну и кто же, по-твоему, нам лжет? – пристально посмотрел на него Шевек.

Бедап спокойно встретил его взгляд:

– Кто, брат? Да никто! Только мы сами.

А над их головами плыла в сиянии планета-близнец, спокойная, величавая, точно являя собой прекрасный пример невероятности вероятного.

* * *

Посадка лесов в литорали на западном побережье Тименского моря являла собой одно из величайших деяний пятнадцатого десятилетия со времен заселения Анарреса; в озеленении побережья участвовали почти восемнадцать тысяч человек, и длилось оно два года.

Хотя весьма протяженное юго-восточное побережье моря было достаточно пологим и плодородным, давая жизнь многочисленным рыболовецким и земледельческим коммунам, площадь пахотных земель в целом была весьма невелика. В глубине континента и на юго-западном побережье Тименского моря земли были практически необитаемы; там имелось лишь несколько изолированных друг от друга маленьких шахтерских городков. Этот обширный регион назывался Великая Пустыня Даст.

В предшествующий геологический период Даст, видимо, покрывали густые леса деревьев-холум – вездесущего и доминирующего на планете растения, имевшего несколько разновидностей. Теперешний климат стал значительно более жарким и засушливым. Тысячелетия засухи уничтожили деревья и превратили почву в мельчайшую серую пыль, при любом ветерке тучей поднимающуюся в воздух; пыль затем образовывала холмы столь же чистых очертаний и столь же безжизненные, как песчаные барханы в пустынях Земли. Жители Анарреса надеялись хотя бы отчасти возродить плодородность этих беспокойных земель благодаря лесонасаждениям. По мнению Шевека, это соответствовало принципу «каузативной реверсивности», игнорируемому школой классической физики, наиболее популярной и уважаемой на Анар-

ресе; и все же этот принцип был тесно связан с учением Одо, хотя напрямую в ее трудах о нем не упоминалось. Шеваку вообще хотелось написать о взаимосвязи идей Одо с идеями современной физики и особенно – о применении принципа «каузативной реверсивности» к ее точке зрения на причинную обусловленность явлений, целей и средств. Однако в восемнадцать лет у него попросту не хватало знаний, чтобы написать подобную работу; впрочем, он никогда этих знаний и не приобретет, если в ближайшее же время не вернется к занятиям физикой и не выберется из этой чертовой пылищи!

По ночам над лагерями тех, кто работал над осуществлением Проекта озеленения, слышался неумолчный кашель. Днем кашляли меньше: были слишком заняты, чтобы думать о себе. Пыль была злейшим врагом этих людей – тонкая, сухая, забивавшая глотку и легкие. Однако именно на эту пыль они и возлагали все свои надежды, ведь когда-то она лежала тонким слоем плодородной почвы в тени густых деревьев. И если как следует потрудиться, это может случиться снова.

И ей благодаря зеленый лист сквозь камень прорастает
И из скалы ключ чистый начинает бить...

Гимар вечно напевала себе под нос мелодию этой песни, и вот сейчас, жарким вечером, когда они возвращались в лагерь, она пропела несколько слов вслух.

– Кому это «ей»? Кто такая «она»? – спросил Шевек.

Гимар улыбнулась. Ее широкоскулое нежное лицо было покрыто коркой пыли, волосы пропылились насквозь, одежда пропахла потом.

– Я выросла близ Южной гряды, – сказала она. – Там шахтеры живут. Это их песня.

– Какие шахтеры?

– Ты что, не знаешь? С Урраса. Которые уже жили здесь, когда прибыли первые поселенцы. Некоторые из шахтеров так и остались на Анарресе и присоединились к поселенцам из солидарности. Они тут золото в шахтах добывали, олово... В таких городках до сих пор сохранились старые праздники и старые шахтерские песни. Мой тадде³ был шахтером, он часто мне эту песню пел, когда я была маленькой.

– Ну и все-таки кто же такая «она»?

– Не знаю. Так в песне говорится. Ох, как мне хочется в тот лагерь, где мы в прошлый раз жили! Там, по крайней мере, поплавать было можно. Я прямо-таки насквозь пропотела – противно!

– Я тоже не лучше.

– И ото всех в лагере потом разит. Кошмар какой-то!

– Это из солидарности...

Но теперешний их лагерь был уже в пятнадцати километрах от берега, и здесь искупаться можно было разве что в пыли.

В лагере был человек по имени Шевет – очень похоже на «Шевек». Когда окликали одного, часто откликался другой. Шевек ощущал некое родство с этим человеком – из-за столь редкого совпадения в звучании имен. Пару раз он видел, что Шевет внимательно на него смотрит. Однако друг с другом они пока не разговаривали.

Первые недели Шевек не ощущал ничего, кроме молчаливого неприятия происходящего в этой пустыне и сокрушительной усталости. Люди, которые избрали своей профессией жиз-

³ Буквально это слово значит «папа»; ребенок обычно называет мать «мамме», а отца – «тадде». Впрочем, «тадде» Гимар мог быть как ее отцом, так и дядей или же вообще не родственником ей, однако же человеком, который заботился о ней не хуже родного отца или деда. Она могла называть «тадде» или «мамме» нескольких людей, однако само это слово имеет более специфический оттенок, чем слово «аммар» (брат/сестра), которое можно употреблять по отношению к любому. – *Примеч. авт.*

ненно важные области науки, например физику, вообще не должны призываться на подобные работы. Разве не аморально – заниматься работой, которая тебе отвратительна? Озеленение побережья, безусловно, необходимо, однако людям здесь по большей части было все равно, что им поручат в следующий раз; они привыкли часто менять вид и место работы; вот таких и следовало набирать в отряды специального назначения. Копаться в пыли и сажать деревья любой дурак может. На самом деле почти все выполняли эту работу куда лучше самого Шевека. Он всегда гордился своей силой и выносливостью, всегда сам вызывался сделать «самое трудное», когда приходила пора очередного – раз в декаду – дежурства по общежитию; но здесь тяжелая работа была повседневной: день за днем, по восемь часов подряд приходилось делать одно и то же в пыли, на солнцепеке. И весь день Шевек мечтал только о том, как вечером наконец останется один и сможет подумать. Но стоило ему добраться до палатки после ужина, как он камнем падал на постель и тут же засыпал. И ни разу ни одна умная мысль так его и не посетила!

Он считал своих товарищей по работе грубыми и туповатыми, а они в свою очередь – даже те, что были моложе Шевека, – обращались с ним как с мальчишкой, чуть насмешливо. Это его обижало и возмущало; утешение и удовольствие он получал только от писем, которые писал своим друзьям Тирину и Роваб с помощью шифра. Шифр они придумали вместе; это был набор глагольных форм, образованных от специальных терминов современной физики. С первого взгляда такое письмо представлялось самым обычным, хотя и довольно нелепым по содержанию, точно беседа каких-то совсем спятивших философов. Особенно изошрялись в создании подобных «шедевров» Шевек и Роваб. Письма Тириня были очень смешными и убедили бы кого угодно, что имеют отношение к самым непосредственным переживаниям и событиям, однако чисто физический смысл их был весьма сомнителен. Зато Шевек частенько отсылал друзьям настоящие загадки – стараясь составлять их, когда копал ямы для деревьев в каменистой земле тупым заступом, а над ним на ветру кружились тучи пыли. Тирин отвечал довольно регулярно. Роваб в последнее время написала всего одно письмо и умолкла. Она была холодной девушкой, и Шевек это прекрасно знал. Однако никто у них в институте не знал, каким несчастным он чувствовал себя здесь, в этой пустыне! Роваб-то и Тириня сюда не послали! Они сейчас как раз спокойно занимаются разработкой собственных идей! А не воплощением этого чертова проекта облесения литорали. Их-то способности никто не тратит впустую! Они работают, занимаются настоящим делом, делают то, что хотят! А он? Он здесь не работает. Это его обрабатывают.

И все-таки странно – какое чувство гордости и огромного удовлетворения приносит подобная работа, когда выполняешь ее вместе со всеми!.. К тому же некоторые из его теперешних товарищей оказались людьми поистине незаурядными. Гимар, например. Сперва ее сильное крупное тело взрослой женщины вызывало у Шевека даже некоторую оторопь, но теперь он и сам стал достаточно сильным, чтобы желать ее.

– Придешь ко мне сегодня ночью, Гимар?

– Ой нет, что ты! – И она с таким удивлением посмотрела на него, что он даже немного обиделся, хотя постарался не показать этого.

– А я-то думал, мы друзья!

– Ну да, друзья.

– Но тогда почему же...

– У меня есть партнер. Постоянный. Там, дома.

– Могла бы раньше сказать. – Шевек покраснел.

– Да все как-то случая подходящего не было; и потом, с чего это я должна тебе что-то говорить? Извини, Шев. – Она с таким сожалением посмотрела на него, что у него снова пробудилась надежда.

– А что, если...

– Нет, Шев. Так с близкими людьми не поступают. Если любишь, нечего раздавать себя по кускам другим мужчинам.

– Но ведь жизнь с постоянным партнером, по-моему, противоречит законам одонийской этики, – сурово заметил Шевек.

– Вот еще дерьмо. – Гимар говорила спокойно, тихим голосом. – Иметь что-то только для себя неправильно, нужно делиться. Но разве этого мало – делить с другим человеком самого себя? Всю свою жизнь, все свои дни и ночи?

Шевек сидел, уронив руки между колен и опустив голову, – высокий, очень худой, безутешный, весь какой-то незавершенный.

– Я к этому не стремлюсь, – сказал он.

– Вот как?

– Да я по-настоящему еще и не знал ни одной женщины. Ты же видишь, я и тебя не понял. Я чувствую себя оторванным от остальных. И не могу с ними соединиться. И никогда не соединюсь. Было бы просто глупо с моей стороны мечтать о партнерстве. Это все... Это все для нормальных людей...

Застенчиво, но не смущенно, как взрослая и уважающая его взрослость женщина, Гимар сочувственно положила руку ему на плечо. Она его не ободряла и не говорила, что он такой же, как все, а сказала только:

– Я никогда, наверное, не встречу больше такого человека, как ты, Шев. И я тебя никогда не забуду!

И тем не менее отказ есть отказ. Несмотря на всю ее нежность и сочувствие, он ушел от нее уязвленный и очень сердитый.

* * *

Стояла жуткая жара, прохладно становилось только перед самым рассветом.

Человек по имени Шевет однажды вечером, после ужина, сам подошел к Шеваку. Он оказался симпатичным плотным мужчиной лет тридцати.

– Ох и надоело мне, что нас с тобой все время путают, – сказал он. – Назвал бы ты себя как-нибудь иначе, парень.

Эта самоуверенная агрессивность ранее, пожалуй, озадачила бы Шевека. Но теперь он ответил нахалу вполне в духе здешних нравов:

– Можешь сам себе имя сменить, если оно тебе не нравится.

– Ах ты, расчетливый сопляк! Небось из тех, что весь век готовы учиться, лишь бы ручки свои не марать! – взвился Шевет. – Я как такого завижу, прямо руки чешутся. Врезать бы тебе как следует, будешь знать!

– Сам ты сопляк! – возмутился Шевек, понимая, что словесной перепалкой тут не обойдется.

Шевет дважды сбил его с ног. Зато ему удалось несколько раз весьма удачно заехать противнику в физиономию, поскольку руки у него были длиннее, да и упорства больше, чем ожидал этот нахал. Однако в целом он, конечно, проигрывал. Несколько человек остановились возле них, увидели, что дерутся вполне честно, хотя и неинтересно, потому что один явно сильнее другого, и пошли дальше. Их не оскорбило примитивное желание одного проявить насилие. А что? Мальчишка на помощь не звал, пусть сам и разбирается. Придя в себя, Шевек обнаружил, что лежит навзничь в темной пыли между двумя палатками.

После этой драки у него еще пару дней звенело в правом ухе, и губа была сильно рассечена, а заживала очень плохо из-за проклятой пыли, которая не давала зажить даже малейшей царапине. Больше они с Шеветом никогда не говорили. Он издали видел этого человека среди других, у костров, где готовилась пища, но злобы не испытывал. Шевет дал ему то, что должен

был дать, и он этот дар принял, хотя в течение долгого времени даже не пытался определить его значимость или обдумать его сущность. А когда сумел это сделать, этот дар уже ничем не отличался от прочих даров, полученных им в период взросления. Как-то вечером одна из тех девушек, что недавно присоединились к их бригаде, подошла к нему точно так же, как тогда Шевет, в темноте. Губа у него еще не успела зажить после драки... Он потом не смог вспомнить даже, что именно она ему сказала; все было очень просто – она его чуть поддразнивала, он отвечал ей, а потом они пошли куда-то в ночь, в пустыню, и там она предоставила ему полную власть над своим телом. Это был ее дар. И он его тоже с благодарностью принял. Как и все дети Анарреса, он имел опыт свободного сексуального общения как с мальчиками, так и с девочками, но все это было в детстве, когда он еще не понимал, как и его партнеры, что секс – это не только краткий миг удовольствия. Бешун, по-настоящему талантливая в плотской любви, взяла его с собой в неведомую страну, в самое сердце истинных сексуальных наслаждений, где не было места ни враждебности, ни недопустимости; здесь все было позволено, и два тела стремились лишь к тому, чтобы слиться воедино и уничтожить ту тоску, что снедала их, выйти за пределы своего физического «я», за пределы времени.

И все стало теперь очень легко, просто и прекрасно – в теплой пыли, под светом звезд. И дни теперь казались не изнуряющими, а долгими, жаркими, полными солнечного света, и даже пыль пахла, как тело Бешун.

Теперь Шевек работал в той бригаде, что сажала деревья. Грузовики привозили множество крошечных саженцев с северо-востока, выращенных в Зеленых горах, где выпадало осадков до десяти тысячи миллиметров в год, – там был пояс дождей. И они сажали эти деревца прямо в пыль.

Когда все было закончено, пятьдесят команд, выполнявших работы второго года Проекта, покинули эти места. Грузовики уже несли их прочь, а они все оглядывались – они видели результаты своего труда: легкую зеленую дымку на бледных пылевых барханах, точно на эту мертвую землю легко, почти незаметно набросили вуаль жизни. И люди радовались, пели, звонко перекликались. У Шевека на глаза навернулись слезы. Он вспомнил: «И ей благодаря зеленый лист сквозь камень прорастает...» Гимар давным-давно уехала к себе на Южную гряду.

– Ты чего это такой мрачный? – спросила Бешун и ласково прижалась к нему, когда грузовик в очередной раз подскочил на ухабе, и погладила его по твердому мускулистому плечу, покрытому беловатым налетом пыли.

* * *

– Ох уж эти женщины! – сказал Шевеку Вокеп, когда они сидели на автобазе горно-обогатительного комбината юго-западного края. – Они всегда считают, что завладели тобой. Ни одна женщина по-настоящему не может быть последовательницей Одо.

– Но ведь сама Одо?..

– Это все теория. Ведь у Одо, после того как убили Асьео, никаких мужчин больше не было, верно? Всегда можно найти исключения. И все же по большей части женщины – типичные собственницы, и само их отношение к мужчинам – это желание прибрать к рукам. Им хочется либо владеть самим, либо быть во власти кого-то.

– Ты полагаешь, что именно этим они отличаются от мужчин?

– Я просто уверен! Мужчине ведь что нужно? Свобода! А женщине? Обладание! Она тебя отпустит – но только если сможет обменять на кого-то другого. Все женщины – собственницы.

– Черт знает что ты говоришь! Ведь половина всех людей – женщины! – воскликнул Шевек, думая, а не прав ли Вокеп, случайно?

Бешун проплакала все глаза, когда он снова получил назначение на северо-запад; она ужасно злилась, и все пыталась заставить его сказать, что он без нее жить не сможет, и уверяла его, что она без него не проживет и дня, и требовала, чтобы они стали партнерами... Партнерами! Вряд ли она способна была выдержать общество одного и того же мужчины больше полугода!

Родной язык Шевека, единственный, которым он владел, явно страдал нехваткой соответствующих идиом для обозначения полового акта, а точнее – физического обладания. В языке правик выражение «обладать женщиной» не имело ни малейшего смысла. Наиболее близким по значению к глаголу «совокупляться», а также имевшим второе, неприличное, значение было специфическое выражение, означавшее примерно «совершать насилие». Наиболее привычным (и приличным) был глагол, употреблявшийся только с подлежащим во множественном числе, который обычно переводился таким нейтральным медико-юридическим термином, как «совокупляться». Множественное число подлежащего означало, что в данном акте всегда участвуют двое. Эти лексические рамки не могли, разумеется, вместить весь тот сексуальный опыт, которым отчасти теперь обладал и он; и Шевек прекрасно сознавал это, хотя и не очень отчетливо представлял себе, что же такое «обладание». Разумеется, он чувствовал, что Бешун принадлежала ему в те звездные ночи в пустыне. А он – ей. И видимо, она полагала, что имеет на него еще какие-то права. Впрочем, они тогда ошибались оба, и Бешун, несмотря на всю свою сентиментальность, быстро поняла это; она поцеловала его на прощание, улыбнулась наконец и отпустила. Нет, он не принадлежал ей. Он был во власти собственного тела. Это были первые порывы юношеской гиперсексуальности; и только тело в действительности властвовало над ним – как и над нею. Но теперь это прошло. И никогда (так думал он, восемнадцатилетний мальчишка, с разрешением на поездку в Аббенай в руке сидевший на автобазе комбината в полночь, ожидая, когда колонна грузовиков двинется на север), никогда уже более не случится. Хотя многое успело произойти с ним за это время, но в отношении женщин он теперь всегда будет на страже. Больше его никто не застанет врасплох, не одержит над ним верх. Поражение, сдача на милость победителя или, наоборот, восторги победы... Да и сама Бешун, возможно, ничего, кроме удовольствия, не хотела. С какой, собственно, стати? И это она, будучи свободной сама, и его выпустила на свободу...

– Нет, я с тобой не согласен, – ответил он длиннлицему Вокепу, биохимику-аграрнику, тоже направлявшемуся в Аббенай. – По-моему, большей части наших мужчин нужно еще учиться быть анархистами. А вот женщинам как раз этому учиться не нужно.

Вокеп с мрачным видом покачал головой.

– Все дело в детях, – сказал он. – В том, чтобы иметь детей. Именно дети делают их собственниками. И потому они тебя не отпускают. – Он вздохнул. – А золотое правило, брат, таково: сорви цветок удовольствия, прикоснись к нему и ступай себе дальше. Никогда не позволяй кому-то завладеть своей душой.

Шевек улыбнулся и допил свой сок.

– Не позволю, – сказал он.

* * *

Было радостно вновь вернуться в Региональный институт, вновь увидеть низкие холмы, покрытые пятнами стелющихся деревьев-холум, огороды, общежития, жилые комнаты, мастерские, аудитории, лаборатории – здесь он жил с тринадцати лет. И для него всегда возвращение назад было и будет не менее важно, чем путешествие в иные места. Пути куда-то, в новую жизнь, было для него недостаточно, точнее, достаточно лишь наполовину: он непременно должен был вернуться назад. Возможно, в этой его черте уже проявлялась природа той сложнейшей теории, которую он намерен был создать, отражавшей то, что практически нахо-

дилось за пределами познаваемого. Скорее всего, он никогда бы не взялся за осуществление столь долгосрочного и немислимо трудного дела, если бы не был абсолютно уверен, что возвращение всегда возможно, хотя сам он, наверное, вернуться не сможет. Сама природа подобного «путешествия во времени», сходная с природой кругосветного плавания, заключала в себе возможность возврата. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя снова вернуться в тот же дом. Это он понимал; именно это было основой его мировоззрения. И все же как раз мимолетность мгновения помогла ему вывести основные положения своей теории, в рамках которой то, что способно меняться более всего, на самом деле оказывается более всего постоянным, вечным, – и твое родство с рекою, родство реки с тобою обуславливают куда более сложные и куда более обнадеживающие отношения, чем простое отсутствие идентичности. Можно снова вернуться домой, так утверждала его общая теория времени, до тех пор, пока ты понимаешь, что дом есть некое место, где ты никогда еще не был.

А потому Шевек был рад вернуться домой – во всяком случае, это был единственный дом, какой он когда-либо имел или хотел иметь. Однако прежние друзья показались ему какими-то недоразвитыми. Он сильно повзрослел и возмужал за прошедший год. Правда, некоторые из девушек повзрослели не меньше, а может, даже больше, они стали женщинами. Но Шевек старался не переходить с ними границ обычного «трепа»; он пока что больше не хотел столь же сильной страсти – боялся попасть в силки, сплетенные собственными физиологическими порывами. Ему предстояло куда более важное дело. К тому же он заметил, что наиболее способные из девушек, вроде Роваб, тоже ведут себя хотя и непринужденно, но осторожно; в лабораториях и на лекциях, как и в общих комнатах отдыха, они держались как старые приятели, не более. Эти девушки, как и он, прежде всего хотели завершить образование, начать самостоятельную исследовательскую работу или найти такое применение своим знаниям, которое бы их удовлетворило, а уж потом, если возникнет такая потребность, рожать детей. Однако сексуальные забавы зеленых юнцов их тоже больше не удовлетворяли; им хотелось зрелости и в интимных отношениях, хотелось, чтобы отношения эти не были пусты и бесплодны; но пока что искать постоянных партнеров им было рановато.

Эти девушки стали Шевеку хорошими друзьями, доброжелательными и независимыми. А вот юноши его возраста, казалось, застряли где-то в самом конце собственного детства. Эти умненькие мальчики на деле были слишком ленивы и робки и, похоже, не желали занять себя ни работой, ни сексом. Если послушать Тирина, так секс – эту замечательную вещь – изобрел именно он, однако же все его интрижки были с девицами лет пятнадцати-шестнадцати, а от своих сверстниц он испуганно шархался. Бедап, никогда не отличавшийся особым сексуальным аппетитом, принял вдруг поклонение одного студента-младшекурсника, явно имевшего гомосексуальные наклонности. Бедап как бы свысока позволял этому «голубоватому юнцу» выполнять любое его желание, однако, похоже, сам ничего не воспринимал всерьез; он вообще стал чрезвычайно ироничным и замкнутым. Шевек чувствовал, что их былой дружбе пришел конец. Даже Тирин был слишком сосредоточен на себе самом, да к тому же чуть что – дулся. Нет, восстанавливать с ними прежние отношения не хотелось. Одиночество, пожалуй, было Шевеку даже приятно, он всем сердцем приветствовал его. Ему и в голову не приходило, что сдержанность, которую проявили по отношению к нему Бедап и Тирин, была просто ответной реакцией; уже тогда мягкий, однако поразительно целостный и самодостаточный характер Шевека способен был создать собственное замкнутое поле, воздействие которого могли выдержать только очень волевые или очень преданные люди. Сам он заметил лишь, что у него наконец-то появилось достаточно времени для работы.

Еще на юго-востоке, привыкнув к постоянной физической нагрузке и перестав тратить свои мозги на сочинение дурацких зашифрованных посланий, а собственное семя – на эротические сновидения, он наконец начал думать по-настоящему. А теперь у него появилось сво-

бодное время, и он мог всласть над тогдашними идеями поработать, решить, есть ли в них рациональное зерно.

Старшим преподавателем физики в институте была Митис. Практически возглавляя кафедру, она не занималась распределением нагрузки и учебных курсов – все назначения в институте каждый год автоматически перераспределялись, а на кафедре было еще около двадцати преподавателей, – однако же Митис проработала здесь тридцать лет и славилась своим блестящим и цепким умом. Кроме того, вокруг нее как бы всегда было некое чистое с психологической точки зрения пространство – так, чем ближе горная вершина, тем меньше можно встретить там людей. Отсутствие пресловутых «любимчиков» и «подхалимов» очень помогло Шевеку сблизиться с Митис. Некоторым людям от рождения свойственна авторитетность; ведь известно, что даже императоры любят порой переодеться в простое, новое для них платье, но все равно свою «авторитетность» сохраняют.

– Я отослала вашу работу по физике относительных частот в Аббенай, Сабулу, – сообщила Митис Шевеку, как всегда суховаато и кратко, хотя вполне доброжелательно. – Хотите прочитать ответ?

Она подтолкнула к нему через стол мятый клочок бумаги, явно уголок, оторванный от какого-то большего листа. Там мелким корявым почерком было написано:

$$ts/2 x(R) = 0.$$

Шевек, навалившись на стол, так и впился глазами в заветную формулу. Глаза у него были очень светлые, и падавший из окна свет отражался в них так ярко, что они казались прозрачными, как вода. Ему было девятнадцать. Митис – пятьдесят пять. Она наблюдала за ним с нескрываемым сочувствием и восхищением.

– Как раз этого мне и не хватало, – сказал он. Его рука уже нащупала на столе карандаш и начала что-то царапать на листе бумаги. При этом на его бледном лице, обрамленном серебристыми мягкими волосами, постриженными очень коротко, вспыхнул румянец, даже уши покраснели.

Митис осторожно обошла вокруг стола и присела с ним рядом. У нее были отвратительные вены на ногах, и стоять ей было трудно. Это ее движение потревожило Шевека. Он поднял голову и с холодным раздражением посмотрел на нее.

– Я смогу закончить это через день-два, – сказал он.

– Сабул хотел бы посмотреть вашу работу, как только вы ее закончите.

Оба помолчали. Краска возбуждения сбежала со щек Шевека, он снова полностью сознавал присутствие старой Митис, которую очень любил.

– А почему вы послали ту мою работу Сабулу? – спросил он. – Да еще с такими серьезными недоделками! – Он улыбнулся; уже сама мысль о том, что пробел в его рассуждениях наконец-то закрыт, приносила ему необычайную радость.

– Я подумала, что он, возможно, сумеет определить, где вы ошиблись. Сама я не сумела. А еще я хотела, чтобы он понял, какую цель вы перед собой ставите... Знаете, он ведь предлагает, чтобы вы приехали к нему, в Аббенай.

Юноша не ответил.

– Вы хотите туда поехать?

– Пока нет.

– Я так и думала. Но поехать вы должны. Хотя бы из-за книг и из-за тех умных людей, с которыми там познакомитесь. Такие способности, как у вас, нельзя понапрасну разбазаривать в этой пустыне! – Митис внезапно заговорила очень страстно: – Это ваш долг – найти для себя наилучшее применение, Шевек. Не позволяйте обмануть себя нашей фальшивой уравниловкой. Вы будете работать с Сабулом; он очень хорош, он вас до смерти работой замучает. Но вы должны непременно остаться свободным и отыскать ту тропу, которой единственно хотите

следовать. Доучитесь этот семестр и поезжайте. Но берегитесь там, в Аббенае! Особенно берегите свою свободу. Власть всегда зарождается в центре. А вы как раз туда и отправляетесь. Сабула я знаю не очень хорошо... однако ничего плохого о нем тоже сказать не могу. Но всегда помните: вам придется стать его человеком.

Притяжательные формы личных местоимений в языке правик встречались главным образом в случае эмфазы; в идиомах они практически не употреблялись. Малыш, конечно, вполне мог сказать «моя мама», но очень скоро обучался говорить просто «мама», а вместо «мой ручки» – просто «ручки» и так далее. Чтобы сказать на правик: «Это мое, а это твое», нужно было употребить выражение: «Я пользуюсь этим, а ты – тем». Заявление Митис: «Вам придется стать его человеком» – поэтому звучало несколько странно. Шевек тупо посмотрел на нее.

– Вам предстоит большая работа, – твердо сказала Митис, глядя на него черными сверкавшими, точно от гнева, глазами. – Вот и выполняйте ее! – И, ничего более не прибавив, она пошла прочь.

Шевек знал, что в лаборатории ее ждут студенты, но все равно был смущен. Пытаясь найти ответ, он уставился на клочок бумаги, по-прежнему лежавший на столе, и решил, что Митис велела ему поскорее вернуться к тем уравнениям и найти ошибку. Лишь значительно позже, годы спустя, понял он, что она действительно имела в виду.

* * *

Накануне его отъезда в Аббенай друзья устроили в его честь пирушку. Такие вечеринки устраивались часто и по самым различным, в том числе незначительным, поводам, но Шевек был поражен, с каким усердием все старались устроить ему «настоящие проводы». Совершенно не подверженный влиянию сверстников, он и не догадывался, что они его любят.

Похоже, многие немало дней экономили ради этой пирушки. В итоге количество еды оказалось просто невероятным. Заказ на выпечку был таков, что институтскому пекарю пришлось, забыв о своей подружке, остаться на весь вечер; он напек целую гору лакомств: душистых вафель, маленьких тарталеток с перцем, которые особенно хороши с копченой рыбой, сладких жареных пирожков, сочных и сытных. Было множество различных фруктовых напитков – консервированные фрукты привозили с берегов Керанского моря, как и маленьких соленых креветок. Ну а хрустящего сладкого картофеля высились целые горы. От такого изобилия все пришли в веселое расположение духа, хотя некоторых потом тошнило, столько они всего съели, не удержавшись.

Был устроен концерт – скетчи и прочие смешные штуки, как отрепетированные заранее, так и чистый экспромт. Тирин в костюме «бедняка с Урраса» – который раздобыл в утильсырьё – приставал ко всем, требуя «подать нищему милостыню». Эти выражения все знали еще по школьным урокам истории.

– Дайте мне денег, – подвывал он, трясая рукой у них перед носом. – Денег! Денег! Ну что же вы мне денег не даете? У вас что, нет ничего? Врете! Ах вы, грязные собственники! Спекулянты проклятые! Нет, вы только посмотрите на это угощение! Как же вы его купили, если у вас денег нет? – Потом он стал предлагать им купить его самого. – «Копите» меня, «копите» меня, задешево продаюсь, – ныл он.

– Не «копите», а «купите», – поправила его Роваб.

– Какая разница – «копите», «купите»! Ты погляди, какое у меня прекрасное тело! Неужели не хочешь? – И Тирин, сам себе что-то напевая под нос, помахал своими тощими бедрами и сладко закатил глаза.

В конце концов его подвергли публичной экзекуции с помощью ножа для рыбы, и после этого он появился вновь уже в нормальной одежде. Кое-кто из студентов очень неплохо умел

играть на арфе и петь, и вообще было много музыки, танцев, но еще больше разговоров. Они говорили столько, будто завтра им всем предстояло замолчать навсегда.

Ночь текла, и юные парочки порой удалялись ненадолго в отдельные комнаты, чтобы там быстренько предаться любовным утехам и вернуться к пирующим; кое-кто уже ушел спать; в конце концов за столом среди пустых чашек, рыбьих костей и крошек печенья осталось лишь несколько человек – все это им нужно было к утру убрать. Но до утра было еще далеко. И они разговаривали. Они точно лакомились этой бесконечной беседой, перескакивая с предмета на предмет. Бедап, Тирин, Шевек, еще несколько юношей, три девушки. Они говорили о ритме как пространственном выражении времени, о связи древнего учения Гармонии Сфер с современными физическими теориями. Они говорили о рекордных результатах последнего марафонского заплыва и о том, можно ли считать их детство счастливым. И пытались определить, что такое счастье...

– Стрдание – это непонимание, непонятость, когда тебя понимают неверно, – сказал Шевек, наклоняясь вперед.

Светлые глаза его горели. Он был по-прежнему худ, с крупными руками, с торчащими по-детски ушами, весь еще угловатый, но здоровый и сильный. На пороге своего возмужания он был очень хорош собой. Его светлые, почти серебристые волосы, как и у остальных, мягкие, прямые и длинные, были перехвачены на лбу повязкой. Только одна из них – девушка с высокими скулами и чуть приплюснутым носом – была пострижена очень коротко; темные волосы охватывали ее голову уютной пушистой шапочкой. Она смотрела на Шевека спокойно и серьезно. Губы у нее блестели – она все время лакодилась жареными пирожками, – а на подбородке прилипла крошка.

– Стрдание действительно существует, – говорил Шевек, широко разводя руками. – Оно вполне реально. Его можно назвать непониманием, но нельзя притворяться, что его нет или же оно когда-либо исчезнет, перестанет существовать. Стрдание – это условие нашего существования. И когда оно приходит, ты сразу его узнаешь. Как узнаешь и истину. Разумеется, правильно, что болезни лечат, что с голодом и несправедливостью борются, – так поступают все «социальные организмы». Но ни один из них не может изменить природу бытия. Невозможно предотвратить страдания. Та или иная конкретная боль – да, подобное страдание можно и нужно устранять. Но не Великую Боль. Кое-какие страдания социума – ненужные страдания – общество облегчить способно. Но остальное останется. Корень страдания, его сущность. Все из присутствующих здесь рано или поздно познают горе; и если мы еще проживем пятьдесят лет, то все пятьдесят лет будем испытывать страдания. И в конце концов умрем. Лишь при этом условии мы появились на свет. Я боюсь жизни! Временами я... мне действительно бывает очень страшно! Всякое счастье кажется мимолетным, незначительным. И все же интересно: а что, если все это сплошь непонимание – вся эта погоня за счастьем, боязнь страдания?... Что, если, вместо того чтобы бояться страдания, избегать его, человек мог бы... пройти сквозь него и оказаться по ту сторону? Что-то ведь там есть – по ту сторону. Ведь страдает моя сущность, мое «эго», но есть, верно, и такое место, где сущность... перестает существовать? Не знаю, как это выразить... Но я уверен: реальную действительность, истину я познаю через страдания так, как не способен познать через покой и счастье; реальность боли – это еще не страдание. Если сможешь пройти через нее. Если ты сможешь вытерпеть ее до конца.

– Реальность нашей жизни – это любовь и солидарность, – сказала высокая девушка с мягкими бархатными глазами. – Любовь – вот истинное условие существования человека.

Бедап помотал головой:

– Нет. Шев прав. Любовь – это просто один из способов существования, и она может пойти не в ту сторону, может и вовсе пройти мимо. А вот боль никогда не ошибается. Но, таким образом, получается, что у нас просто выбора не остается – придется ее терпеть! И мы будем терпеть, хотим мы этого или нет.

Короткостриженная девушка яростно замотала головой:

– Нет, не будем! Лишь один из сотни, один из тысячи всю жизнь живет счастливо, счастливо проходит весь путь от рождения до смерти. А остальные только притворяются, что счастливы, или же просто помалкивают. Все мы страдаем, но, может быть, недостаточно. А стало быть, страдаем зря.

– И что же нам делать? – спросил Тирин. – Бить себя по башке молотком каждый день, чтобы убедиться, что мы страдаем достаточно?

– А ведь ты создаешь культ страдания, Шев, – заметил еще кто-то. – Основная цель жизни, согласно учению Одо, носит характер позитивный, а не негативный. Страдания – это нарушение нормальной функции организма, за исключением тех физических страданий, которые предупреждают организм об опасности. А психологические и социальные страдания носят абсолютно разрушительный характер.

– Что и подвигло Одо с особым вниманием отнестись к страданиям – своим собственным и других людей! – возразил Бедап.

– Но ведь весь принцип взаимопомощи основан именно на том, чтобы предотвращать страдания!

Шевек сидел на столе, болтая в воздухе своими длинными ногами; лицо его было напряжено и спокойно одновременно.

– А вы когда-нибудь видели, как умирает человек? – спросил он.

Большая часть видела – в интернате или же во время дежурства в больнице. И все, кроме одного, помогали хоронить умерших.

– Когда я жил в лагере на юго-востоке, я впервые увидел действительно страшную смерть. Что-то случилось с дирижаблем, и он во время полета вспыхнул и упал на землю. Они вытащили этого человека – на нем живого места не было, весь обожжен. Он еще часа два прожил... Спасти его было невозможно; ему совершенно ни к чему было так долго жить и мучиться, и не было никаких оправданий для того, чтобы заставлять его страдать еще два часа. Мы ждали, пока не слетают за анестезирующими средствами, и я стоял возле него вместе с двумя девчонками – мы только что вместе грузили его дирижабль. Врача в лагере не было. Ему нечем было помочь! Можно было только оставаться с ним рядом. Он был в шоке, но сознание почти не терял. И его терзала ужасная боль, особенно руки – я не думаю, что он ощущал, что остальное его тело практически обуглилось; боль он чувствовал главным образом в руках. Его нельзя было даже коснуться или погладить, чтобы как-то утешить, – при любом прикосновении кожа и мясо его оставались у вас на пальцах и он ужасно кричал. Ничего нельзя было для него сделать! Мы оказались совершенно беспомощны! Может быть, он сознавал, что мы рядом с ним, не знаю. Но ему от этого было ничуть не легче. Но самое страшное, что ничего нельзя было сделать! Я тогда понял... увидел, что в такую минуту ни для кого ничего нельзя сделать. Мы не можем спасти друг друга. И себя тоже. От смерти.

– И что же ты тогда ощутил? Полное одиночество и отчаяние! Ты отрицаешь возможность братских отношений, Шевек! – крикнула высокая девушка.

– Нет... нет, не отрицаю. Я только пытаюсь сказать, что, как мне представляется, братство реально существует и начинается... там, в разделенной боли, в разделении чужого страдания...

– Но тогда где же оно кончается?

– Не знаю. Пока еще не знаю.

3

Уррас

Шевек все свое первое утро на Уррасе безнадежно проспал, а когда проснулся, то нос у него был заложен, в горле першило и он без конца кашлял. Он решил, что простудился и даже одонийская гигиена не сумела перехитрить обыкновенный насморк, однако врач, который уже ждал, чтобы осмотреть его, – это был весьма достойного вида пожилой мужчина – сказал, что это больше похоже на аллергию вроде сенной лихорадки, вызванную реакцией на пыль чужой планеты и пыльцу здешних цветущих растений. Он прописал какие-то таблетки и укол, который Шевек терпеливо перенес, а также предложил ему позавтракать, и Шевек с жадностью проглотил все, что было на подносе. Врач попросил его оставаться пока в помещении и ушел, а Шевек тут же начал знакомство с Уррасом, обходя комнату за комнатой.

Кровать была огромная, массивная, а матрас куда мягче, чем на койке в космическом корабле; постельное белье из множества предметов было, видимо, из шелка, одеяла толстые и теплые и подушки, кучевыми облаками вздымавшиеся на постели. На полу пружинивший под ногами ковер; также имелся комод из прекрасного полированного дерева со множеством ящиков и шкаф, достаточно большой, чтобы в нем разместить одежду для десяти человек. Потом Шевек перешел в огромную гостиную с камином, которую видел прошлой ночью; дальше была еще комната с ванной, умывальником и весьма изысканной конструкции унитазом; эта комната явно предназначалась только для его личного пользования, поскольку из нее была дверь прямо в его спальню. Все эти элементы роскоши, а это, безусловно, были предметы роскоши, явно содержали не просто некий элемент эротичности и, по мнению Шевека, являли собой прямо-таки апофеоз излишества, «экскрементальности», как сказала бы Одо. В последней комнатке он провел почти час, по очереди включая все приборы и устройства и в результате став чистым до чрезвычайности. Особенно восхищало его то, что водой можно было пользоваться без ограничений. Вода лилась из крана, пока его не выключишь! Ванна была объемом никак не менее шестидесяти литров! А унитаз исторгал при смыве по крайней мере литров пять воды! В общем-то, ничего удивительного в этом не было. Поверхность Урраса на пять шестых была покрыта водой. Даже пустыни на полюсах этой планеты состояли из воды, точнее, из льда. Никакой необходимости экономить воду, никаких засух... Но что происходит далее с тем, что спускается в канализацию? Шевек задумался и даже опустился возле унитаза на колени, сперва как следует обследовав сливной бачок. Они, должно быть, пропускают канализационные стоки сквозь фильтры на специальных установках... На Анарресе имелись прибрежные коммуны, где использовались подобные системы очистки воды при отвоевывании у моря и пустыни пригодной для обитания территории. Ему очень хотелось расспросить об этом кого-нибудь, однако впоследствии ему ни разу к этой теме подобраться не удалось. Он многие вопросы так и не успел выяснить за время своего довольно-таки долгого пребывания на Уррасе.

Помимо заложенного носа, ничто его не беспокоило, он чувствовал себя вполне здоровым и готовым действовать. В комнатах было настолько тепло, что он отложил пока процедуру одевания и бродил по ним нагишом. Потом подошел к окнам большой комнаты и постоял там, глядя на улицу. Комната находилась очень высоко над землей – он сперва даже удивленно отшатнулся от окна: непривычно было находиться на высоте нескольких этажей от земли. Примерно такой виделась земля с борта дирижабля; появлялось ощущение оторванности от земли, вознесения над нею, невмешательства в ее дела. Окна выходили прямо на рошу, окружавшую небольшое белое здание с изящной, квадратного сечения башней, за которой открывалась обширная долина, целиком состоявшая из возделанных полей – прямоугольных пятен различных оттенков зеленого цвета. Даже почти у горизонта, где зелень начинала отливать синевой, на фоне которой были заметны более темные поперечные или продольные линии – зеленые

изгороди или деревья, – это была очень четко расчерченная сеть полей и огородов, похожая на схему нервной системы человека. И наконец, на самом горизонте виднелись холмы, обрамлявшие долину, – одна синяя складка за другой, мягкие темные волны под ровным бледно-серым небом.

Более прекрасный вид трудно было себе представить! Мягкость и живость красок, смесь созданного рукой человека прямоугольного орнамента и пышных естественных контуров растений, разнообразие и гармония создавали впечатление сложного и единого целого; в природе ему такого еще наблюдать не приходилось, только иногда, очень редко и в малой степени, – на некоторых безмятежных, задумчивых и прекрасных человеческих лицах.

В сравнении с этим любой пейзаж Анарреса – даже долина Аббеная и устье реки Нетерас – казался убогим: бесплодная, сухая земля, едва начавшая оживать под рукой человека. В пустынях юго-запада была, пожалуй, своя вольная красота простора, однако в ней чувствовались враждебность человеку и безвременье. На Анарресе, даже там, где наилучшим образом было развито земледелие, возделанные поля напоминали скорее грубый набросок на грифельной доске желтым мелом в сравнении со здешним воплощенным чудом жизни, богатой как своим прошлым, так и неистоцимым будущим.

Да, вот так и должна выглядеть настоящая планета людей, подумал Шевек.

И где-то за пределами этого синего и зеленого великолепия звучало пение: тоненький голосок высоко в небе выводил простую нежную мелодию, то громко, то замолкая. Что это? Чей это голос? Чья музыка в воздухе?

Шевек прислушался, дыхание прерывалось в груди от восторга.

В дверь постучали. Забыв, что так и не оделся, и не отрывая глаз от окна, Шевек сказал: – Войдите!

Вошел какой-то человек со множеством пакетов. Да так и застыл в дверях. Шевек подошел к нему, назвал себя по имени, как это было принято у них на Анарресе, и протянул руку для рукопожатия, как это принято было на Урресе.

Человек – ему было лет пятьдесят, но лицо старое, покрытое морщинами – что-то пробормотал неразборчиво и протянутую руку не пожал. Может быть, ему мешали бесчисленные свертки и конверты? Впрочем, он и не пытался от них избавиться. Смотрел он исключительно мрачно и, похоже, был чем-то сильно смущен.

Шевек, который полагал, что уже научился здороваться так, как принято на Урресе, пребывал в замешательстве.

– Ну-ну, входите же! – повторил он и прибавил, поскольку эти уррасти обожали всякие титулы и звания: – Входите, пожалуйста, господин... э-э-э?

Человек разразился новым потоком невразумительных восклицаний, бочком продвигаясь к спальне. Шевек уловил несколько знакомых слов, однако общий смысл сказанного так и остался для него загадкой. Он позволил этому типу пробраться в спальню, поскольку тот явно этого хотел. Может быть, он один из его соседей? Но ведь в спальне только одна кровать! Шевек, ничего не понимая, вернулся к окну, а незнакомец, поспешно проскользнув в спальню, чем-то там некоторое время стучал и гремел. В точности (предположил Шевек) как вернувшийся с ночной смены человек, который пользуется твоей постелью днем, – такое расписание иногда имело место во временно перенаселенных общежитиях Анарреса. Потом человек снова вышел из спальни и сказал что-то вроде «ну вот и все». Потом, как-то странно понуриив голову, словно боялся, что Шевек, стоявший метрах в пяти от него, может его ударить, вышел. Шевек обалдело стоял у окна, медленно осознавая, что впервые в жизни ему кто-то поклонился.

Он прошел в спальню и обнаружил, что постель аккуратно застлана.

Медленно, задумчиво Шевек оделся. Он уже обувался, когда в дверь снова постучали.

Эти люди вошли совсем иначе: нормально. Словно имели полное право войти сюда или в любое другое место, когда захотят. Тот человек со свертками все время чего-то опасался,

двигался бочком, стесненно, но тем не менее его внешность и одежда были Шевеку чем-то ближе, казались почти привычными, тогда как у новых посетителей!.. Тот, осторожный его гость вел себя странно, однако выглядел как житель Анарреса. Эти же четверо вели себя как анаррести, но выглядели – со своими выбритыми физиономиями и черепами, в своих пышных одеждах – точно представители иной космической расы.

Шевек наконец в одном из них умудрился признать Пае, а в остальных – тех физиков, с которыми провел вчерашний вечер. Он извинился и объяснил, что не успел запомнить их имена; они, улыбаясь, представились снова: доктор Чифойлиск, доктор Ойи и доктор Атро.

– Черт возьми! – воскликнул Шевек. – Неужели вы – Атро! Как же я рад вас видеть! – Он обнял старика за плечи и поцеловал в щеку, прежде чем успел подумать, что его братское приветствие, обычное на Анарресе, здесь, вполне возможно, выглядит неприличным или вообще неприемлемым.

Атро, однако, тоже сердечно обнял Шевека, глядя ему в лицо затянутыми влажной пленкой серыми глазами. Шевек понял, что старик практически слеп.

– Мой дорогой Шевек, – сказал он, – я тоже очень, очень рад! Добро пожаловать в А-Йо, на Уррас, домой!

– Ах, сколько лет мы писали друг другу письма! Сколько лет разбивали в пух и прах теории друг друга!

– Вам это всегда удавалось лучше, – заметил Атро. – Вот, держите-ка, я кое-что вам принес. – Старик пошарил в карманах. Под бархатной университетской мантией у него был еще пиджак, под пиджаком – жилет, под жилетом – рубашка, а подо всем этим, похоже, еще слой одежды, и не один! И во всем, не говоря уже о брюках, имелись карманы! Шевек прямо-таки завороченно смотрел, как Атро роется в них: в каждом кармане что-то лежало, явно полезное. Наконец он извлек – из шестого или седьмого по счету кармана – небольшой куб желтого металла на подставке из полированного дерева. – Вот! – сказал он торжественно, указывая на куб. – Это приз Сео Оен, который, как известно, достался вам. А деньги уже переведены на ваш счет. Конечно, вы на девять лет опоздали, но лучше поздно, чем никогда. – Руки у Атро дрожали, когда он вручал Шевеку приз Сео Оен.

Куб был тяжелый: он оказался из чистого золота. Шевек не знал, куда его деть.

– Вы как хотите, молодые люди, – сказал Атро, – а я сяду. – И все тут же плюхнулись в глубокие мягкие кресла (их Шевек уже успел как следует рассмотреть, удивленный их обивкой – каким-то не имеющим переплетения нитей коричневым материалом, который на ощупь больше всего походил на кожу). – Сколько вам тогда было лет, Шевек?

Атро был самым старым из ныне живущих физиков Урраса. В нем ощущалось не только достоинство старейшего, но и туповатая самоуверенность человека, который привык ко всеобщему уважению. Ничего нового, подумал Шевек. Этот тип «авторитетного ученого» был ему уже хорошо знаком. И в конце концов, было даже приятно, что к нему наконец обращаются просто по имени.

– Когда я завершил «Принципы»? Двадцать девять.

– Двадцать девять? Господи! Это значит, что минимум за последние сто лет вы самый молодой из лауреатов премии Сео Оен! Вас еще на свете не было, когда я получил свою премию, а ведь мне тогда уже стукнуло шестьдесят!.. А сколько вам было, когда вы впервые написали мне?

– Около двадцати.

Атро насмешливо фыркнул:

– А я вас за сорокалетнего принял!

– Ну а каков ваш Сабул? – поинтересовался Ойи. Он был совсем маленького роста, ниже даже, чем обычный, средний уррасти, хотя все они казались Шевеку ужасными коротышками. У Ойи было плоское ласковое лицо и миндалевидные, абсолютно черные глаза. – Был такой

период – лет шесть-семь, – когда вы совершенно перестали писать нам, тогда как Сабул продолжал поддерживать с нами связь; однако в радиодebатах он никогда не участвовал. И нам всегда страшно хотелось узнать, каковы отношения между вами...

– Сабул – глава физического факультета в Аббенае, – сказал Шевек. – Я с ним много работал.

– Все ясно! Старший соперник, ревнивый, раздраженный вашими успехами... Мы так и подумали с самого начала. Вряд ли стоило задавать столь бестактный вопрос, Ойи, – довольно резко сказал четвертый их собеседник, Чифойлиск. Это был человек средних лет, смуглый, плотный, с тонкими красивыми руками, не знающими физического труда. Он, единственный из всех, не до конца выбрил себе лицо: на подбородке у него поблескивала бородка того же серо-стального цвета, что и волосы на голове. – Вы знаете, Шевек, не стоит притворяться, что все ваши братья-одонийцы исполнены горячей братской любви друг к другу, – сказал он. – Человеческая природа везде одинакова.

Ответное молчание Шевека не вызвало у присутствующих замешательства только потому, что он вдруг неудержимо расчихался.

– Ох, простите, у меня даже носового платка нет, – извинился он, вытирая глаза.

– Возьмите мой, – предложил Атро и протянул ему белоснежный платок, извлеченный из одного из своих бесчисленных карманов.

Шевек взял платок, и тут в душе его ожило одно незначительное, но болезненное сейчас воспоминание – как его дочь Садик, маленькая темноглазая девочка, говорит: «Я могу поделиться с тобой своим платком». Пытаясь прогнать это очень для него дорогое, но невыносимо мучительное воспоминание, Шевек заставил себя улыбнуться и сказал:

– У меня аллергия на вашу планету. Так доктор говорит.

– Господи, неужели вы все время будете так чихать? – посочувствовал старый Атро.

– А разве ваш человек еще не приходил? – спросил Пае.

– Мой человек?

– Слуга. Предполагалось, что он принесет вам кое-что из необходимых вещей. В том числе носовые платки. Вполне достаточно на первое время – пока вы не сможете все купить сами. Правда, ничего особенного, боюсь, мы вам предложить не смогли – готовое платье для мужчины вашего роста подобрать довольно сложно!

Когда Шевеку удалось вычленить эту мысль из общего потока речи Пае (тот говорил очень быстро, сливая одно слово с другим, и его плавная, мягкая, сладкая речь вполне соответствовала его красивому, тоже немного сладкому лицу и артистичным манерам), он сказал:

– Как это любезно с вашей стороны! Я чувствую... – Он посмотрел на Атро. – Я ведь, как вы понимаете, нищий, – это он сказал, обращаясь к старому Атро примерно тем же тоном, что и доктору Кимое на «Старательном», – денег я с собой привезти не мог, мы ими не пользуемся. О подарках речь не шла – у нас нет ничего такого, чего не было бы у вас. Так что я явился сюда как примерный одониец – то есть «с пустыми руками».

Атро и Пае в один голос заверили его, что он гость, даже и вопроса не может стоять ни о какой плате или подарках, это для них удовольствие – принимать его.

– И, кроме того, – вставил Чифойлиск, как всегда довольно кислым тоном, – по счетам все равно платит правительство А-Йо.

Пае метнул в его сторону острый взгляд, однако Чифойлиск и бровью не повел; он смотрел прямо на Шевека с каким-то вызовом, однако Шевек так и не понял, что именно отразилось на его физиономии в этот момент: то ли желание предупредить о чем-то, то ли намек на соучастие – уж не в преступлении ли?

– В этом вся косность вашего мышления, мой дорогой представитель уважаемого государства Тху, – сказал старый Атро Чифойлиску и презрительно хмыкнул. – Но неужели вы, Шевек, хотели сказать, что не привезли с собой ни одной новой работы? И никаких записей?

А я-то надеялся получить еще одну книгу, которая совершила бы очередную революцию в физике, и полюбоваться, как наши самоуверенные юнцы будут стоять из-за нее на ушах. Я и сам стоял на ушах, когда прочел впервые ваши «Принципы»... Вы над чем в последнее время работали?

– Ну, я читал работы Пае... доктора Пае... по поводу блокирующей вселенной, а также парадокса и относительности...

– Все это прекрасно, разумеется, Сайо – наша восходящая звезда, и меньше всего в этом сомневается он сам, верно, Сайо? Однако какое это имеет отношение к стоимости сыра в мышеловке? Где ваша общая теория времени?

– У меня в голове, – сказал Шевек с широкой ясной улыбкой.

Воцарилось недолгое молчание.

Ойи спросил, видел ли он работы по теории относительности, написанные инопланетным автором, неким Айнзетайном с Земли. Шевек с этими работами знаком не был. А здесь ими очень увлекались все, за исключением Атро, который уже по возрасту давно пережил способность чем-либо увлекаться. Пае сбегал в свою комнату и принес Шевеку копию перевода той работы, которая вызывала наибольший интерес.

– Написано несколько веков назад, и столько новых идей! – восхитился он.

– Возможно, – обронил Атро. – Однако ни одному из этих инопланетян так и не удалось постигнуть суть нашей физической науки. Хайнцы называют ее материализмом, а земляне – мистицизмом, но и те и другие пасуют перед ней. Не увлекайтесь слишком фантазиями чужеземцев, Шевек: они способны увести вас в сторону. Для нас у них ничего нет. Каждый зверь свою нору стережет, как говаривал мой отец. – Он снова насмешливо хмыкнул и поудобнее устроился в кресле. – Пойдемте-ка лучше прогуляемся по Роще. Ничего удивительного, что у вас нос так заложен, – вы ведь его на улицу высунуть боитесь.

– Врач сказал, чтобы я три дня не выходил из дома. Что я могу... как это? Заразиться? Стать заразным?

– Никогда не следует обращать внимание на то, что говорят врачи, дорогой мой.

– Но возможно, в данном случае как раз стоило бы прислушаться к советам медиков, – осторожно заметил Пае.

– Тем более что врач к вам, Шевек, прислан правительством А-Йо. Я верно говорю? – В голосе Чифойлиски звучала явная угроза.

– И притом это самый лучший врач, какого они смогли найти. В этом я уверен, – без улыбки согласился Атро и вышел из комнаты, более не убеждая Шевека пойти прогуляться.

Чифойлиск последовал за ним, а двое более молодых ученых – Пае и Ойи – остались с Шевеком и еще довольно долго беседовали с ним о физике.

С огромным удовлетворением, с невыразимо приятным чувством узнавания, понимания, что все именно так, как и должно быть, Шевек – впервые в жизни! – наслаждался беседой с равными.

Митис, хотя и была прекрасным преподавателем, оказалась все же не способна последовать за ним в те новые области теории, куда он при ее непосредственной поддержке углубился. Граваб была единственным человеком, кто мог оценить его изыскания, кто знал и понимал не меньше, чем он сам, но они с Граваб встретились слишком поздно, в самом конце ее жизненного пути. А потом Шевек работал со многими талантливыми людьми, однако никогда не занимал постоянной должности в институте, и у него не хватало ни времени, ни сил, ни возможностей, чтобы увести этих людей за собой достаточно далеко, увлечь их своими исследованиями; они вязли в старых проблемах классической физики. Среди коллег у него никогда не было равных. Здесь же, в царстве всеобщего неравенства, он наконец их встретил.

И испытал огромное облегчение, освобождение от интеллектуального одиночества. Физики, математики, астрономы, логики, биологи – всех можно было найти здесь, в Универ-

ситете; и все охотно приходили к нему, или же он – к ним, и они беседовали о чем угодно, и в этих беседах рождались новые миры. Природа всякой новой идеи такова, что ею необходимо сперва поделиться: описать ее кому-то, обговорить вслух – и только потом попытаться воплотить в жизнь. Идеи, как трава, требуют света и, подобно народам, расцветают за счет смешения кровей. Хороший ковер становится только лучше, когда его потопчут ногами многие.

Даже в самый первый день в Университете, во время беседы с Ойи и Пае, Шевек понял, что нашел то, к чему давно стремился, о чем страстно мечтал с детства, когда они с Тирином и Бедапом допоздна засиживались за «умными» разговорами, поддразнивая и подначивая друг друга и тем стимулируя еще более отважный полет мысли. Он живо припомнил некоторые из этих ночей и Тирина, говорящего, что если б они знали, ЧТО в действительности представляет собой Уррас, то, возможно, кому-то из них и захотелось бы туда отправиться... Ах, как он, Шевек, был тогда потрясен этими словами! И разумеется, сразу набросился на Тирина, и бедняга Тир тут же отступил; он всегда отступал... и всегда был прав!..

Разговор давно прервался. Пае и Ойи вежливо молчали.

– Простите, – сказал Шевек, – голова страшно тяжелая.

– А как вы ощущаете здешнюю силу тяжести? – спросил Пае с очаровательной улыбкой человека, который, точно ребенок-вундеркинд, всегда рассчитывает на свое обаяние и ум.

– Я ее не замечаю, – ответил Шевек. – Только, пожалуй, вот здесь... Как называется эта часть тела?

– Колени... коленные чашечки.

– Да, в коленях. Что-то вроде усталости. Хотя двигаться не мешает. Но я привыкну. – Он посмотрел на Пае, потом на Ойи. – Вы знаете, меня очень интересует один вопрос... Но я, право, не хотел бы никого обидеть...

– Не беспокойтесь, никого вы не обидите, доктор! – заверил его Пае.

– Я не уверен, что вы вообще знаете, как это делается, – поддержал приятеля Ойи. Он был не такой сладкий «симпатяга», как Пае. Даже говоря о физике, он будто что-то утаивал, скрывал – он вообще был очень сдержанный, замкнутый, хотя за этим – и Шевек отчетливо чувствовал это – была некая надежность, то, чему можно верить. Тогда как за очарованием Пае... нет, решительно невозможно было понять, что там, внутри этой блестящей оболочки... Ладно, не важно, решил Шевек. Буду вести себя так, будто верю им всем. Придется, ничего не поделаешь.

– Где ваши женщины? – прямо спросил он.

Пае рассмеялся. Ойи улыбнулся, и оба поинтересовались:

– В каком смысле?

– Во всех! Вчера я познакомился с несколькими на приеме – их там было не более десяти. И сотни мужчин! И ни одна из тех женщин, по-моему, к ученым не имела ни малейшего отношения. Кто же они были?

– Жены. Между прочим, одна из них была моей женой, – сказал Ойи со своей затаенной улыбкой.

– Но где же другие женщины?

– Ах, доктор, в этом вопросе ничего сложного нет, – быстро ответил Пае. – Вы просто скажите, какие женщины вам больше нравятся, и нет ничего легче: вам доставят именно таких.

– Здесь ходят весьма занятные слухи насчет обычаев анаррести, однако, по-моему, у нас с вами практически нет расхождений во взглядах, – заметил Ойи.

Шевек понятия не имел, что они оба имеют в виду. Он поскреб в затылке:

– Так, значит, здесь все ученые – мужчины?

– Ученые? – с недоверием переспросил Ойи.

Пае покашлял и неуверенно заговорил:

– Ну да, ученые. Да, разумеется! Все они мужчины. В школах для девочек есть, правда, некоторое количество преподавателей-женщин. Однако чаще всего без университетского диплома.

– Почему же?

– Ну, видимо, потому, что математика им не по зубам, – улыбнулся Пае. – Женщины плохо приспособлены для абстрактного мышления, они ведь совсем иные, чем мы, мужчины, вы и сами это прекрасно понимаете. Женщины способны думать только о том, что связано с детородными органами! Разумеется, всегда можно найти отдельные исключения, попадаются страшно умные женщины, но... абсолютно фригидные.

– А вы, одонийцы, разрешаете женщинам заниматься наукой? – спросил Ойи.

– Ну а... Конечно! Среди них немало талантливых ученых.

– Надеюсь, не так уж много?

– Примерно половина всех наших ученых – женщины.

– Я всегда говорил, – сказал Пае, – что девушки, правильно технически обученные, могли бы в значительной степени снять нагрузку с мужчин в любой лаборатории. Женщины действительно порой куда ловчее и быстрее, особенно на конвейере или в серийных, повторяющихся операциях, к тому же они более послушны и понятливы – им не так быстро все надоедает. Мы могли бы высвободить значительно больше мужчин для творческой работы, если бы в определенных областях использовали женщин.

– Только не в моей лаборатории! – сказал Ойи. – Пусть лучше остаются на своем месте.

– А вы находите, что любая женщина способна к интеллектуальной творческой деятельности, доктор Шевек? – спросил Пае.

– Естественно. Более того, именно женщины-то меня и «откопали»! Митис – в Северном Поселении – была моим первым настоящим учителем, а Граваб – о ней-то вы слышали, я полагаю?..

– Граваб была женщиной? – вырвалось у потрясенного Пае. Он даже рассмеялся.

Ойи выглядел обиженным и совершенно необузданным.

– Разумеется, по вашим именам судить трудно, – холодно заметил он. – Возможно, вы сознательно выбираете такие имена, которые не дают никакого представления о половых различиях...

– Одо, между прочим, была женщиной, – мягко возразил Шевек.

– Ну вот! Конечно! – воскликнул Ойи. Он не пожал плечами, хотя слова его звучали так, будто он это сделал.

Пае смотрел уважительно и кивал – в точности как когда слушал бормотание старого Атро.

Шевек видел, что затронул в этих людях некую неличностную враждебность к противоположному полу, чрезвычайно глубоко коренившуюся в их сознании. Очевидно, и эти представления, и округлые формы мебели на космическом корабле – свидетельство того, что женщина существует здесь только для удовлетворения сексуальных потребностей и деторождения, такая красивая бессловесная тварь, а порой и фурия – зато в золоченой клетке... Нет, он не имеет права дразнить их. Они не знают иных отношений, кроме обладания. И не понимают, что сами тоже являются объектом обладания.

– Красивая умная женщина, – сказал Пае, – для нас объект вдохновения! Самое ценное на земле.

Шевек почувствовал себя очень неудобно. Он встал и подошел к окну.

– Ваш мир так прекрасен, – сказал он. – Я мечтаю посмотреть его как следует! Но пока я вынужден оставаться в помещении, не принесете ли вы мне каких-нибудь книг?

– Ну разумеется, доктор! Какие именно книги вас интересуют?

– Исторические! Желательно с иллюстрациями. Или романы, рассказы... Любые. Может быть, даже для детей. Видите ли, я слишком мало знаю о вашей планете. У нас были в школе уроки, посвященные Уррасу, но они главным образом касались эпохи Одо. А ведь до этого прошло не меньше восьми с половиной тысячелетий! Да и со времен заселения Анарреса уже полтора века миновало. И с тех пор в отношении Урраса мы полные невежды! Ничего не знаем и не желаем знать о вас. Как и вы о нас, впрочем. А ведь вы – наша история. А мы, возможно, – ваше будущее. Я хочу учиться, а не отворачиваться от знаний. Именно по этой причине я и прилетел сюда. Мы должны как следует узнать друг друга. Мы ведь не примитивные существа. И наша мораль, наше мировоззрение никак не могут иметь трайбалистский характер. Просто не могут! Незнание друг друга в нашем случае совершенно недопустимо, оно может явиться источником крупных бед. Так что я прилетел сюда учиться, узнать и постараться понять вас.

Шевек говорил очень искренне. Пае с энтузиазмом поддержал его:

– Совершенно справедливо! Мы полностью разделяем и поддерживаем все ваши начинания, доктор Шевек!

Ойи, глядя на Шевека своими непроницаемо-черными миндалевидными глазами, спросил осторожно:

– Значит, вы прибыли главным образом как эмиссар своей страны?

Шевек ответил не сразу. Он отошел к камину и присел на мраморную скамью, которую уже считал «своей». Ему нужна была такая «собственная» территория. Он чувствовал, что сейчас нужно быть очень осторожным. Но еще сильнее он ощущал ту потребность, что перенесла его через черное пространство космоса, – потребность в общении, желание разрушить проклятые стены.

– Я прибыл, – неторопливо начал он, – как старший член нашего Синдиката инициативных людей; это мы вели переговоры с Уррасом по радио в течение двух последних лет. Однако, как вам, должно быть, известно, я не посол, не обладаю никакими полномочиями и не представляю никакие государственные институты. Надеюсь, вы приглашали меня сюда, понимая все это?

– Безусловно, – подтвердил Ойи. – Мы приглашали вас – знаменитого физика Шевека – с одобрения нашего правительства и Совета Государств Планеты. Здесь вы находитесь как частное лицо, как гость Университета Йе Юн.

– И очень хорошо!

– Однако мы не были уверены, получите ли вы одобрение на эту поездку со стороны... – Он заколебался.

– Моего правительства? – с улыбкой подсказал Шевек.

– Мы знаем, что формально на Анарресе никакого правительства не существует. Однако там, очевидно, все-таки есть какая-то администрация? И мы полагаем, что та группа людей, которая вас послала, этот ваш синдикат, представляет собой некую фракцию, возможно революционную...

– На Анарресе все революционеры, Ойи... У нас сеть различных учреждений, занимающихся охраной и управлением, называется Координационным советом по производству и распределению; в него входят представители всех синдикатов и федераций, а также частные лица. На Анарресе нет такой власти, которая могла бы поддержать меня или, напротив, помешать мне. А информационный отдел КСПР может лишь сообщить людям, например членам нашего синдиката, то общественное мнение, которое о нас сложилось, – и мы сможем определить, какое место занимаем в сознании народа. Вы это хотели узнать? Что ж, в таком случае признаюсь: я и мои друзья из синдиката чаще всего получаем в нашем обществе негативную оценку. Большая часть населения Анарреса ничего не желает знать об Урресе; они его боятся и не хотят иметь ничего общего с «собственниками». Простите, если я грубо выражаюсь! Здесь ведь то же самое по отношению к нам – по крайней мере среди значительной части вашего

населения – верно? Презрение, страх, трайбализм. Вот я и прилетел сюда, чтобы все это постепенно переменить.

– И действуете исключительно по собственной инициативе, – подчеркнул Ойи.

– Это единственная инициатива, которую я признаю, – улыбнулся Шевек, оставаясь совершенно серьезным.

* * *

Следующие два дня он провел в беседах с учеными, приходившими навестить его, читал книги, которые принес ему Пае, а порой просто подолгу простаивал у окна и смотрел, как в широкую долину неторопливо приходит лето. Теперь он знал названия многих пернатых певуний, нежно переговаривавшихся в небесной выси, знал, как они выглядят благодаря картинкам в книге, но тем не менее стоило ему услышать их пение или шорох крыльев, как он застывал, очарованный, точно ребенок.

Он ожидал, что будет чувствовать себя на Уррасе совершенно чужим, потерянным, никому не нужным, – но ничего подобного не произошло. Разумеется, по-прежнему было множество вещей, которых он не понимал; он с первого взгляда убедился, что здесь для него слишком много непонятного: невероятно сложные общественные структуры Урраса, различные нации, классы, касты, культы, обычаи и бесконечно долгая, полная драматизма и подлинных ужасов история. Да и каждый новый человек, с которым он знакомился, являл собой очередную головоломку, средоточие неожиданностей. Однако уррасти вовсе не были грубыми, холодными эгоистами, как он когда-то предполагал, – они были столь же сложны и разнообразны, как культура их планеты, как их природа. И они, безусловно, были умны и добры. Они относились к нему как к брату, они делали все возможное, чтобы он не чувствовал себя здесь одиноким, потерянным, чужим. Чтобы он чувствовал себя как дома. И это действительно было так! Ему было здесь – легко! Все это – прозрачность воздуха, косые солнечные лучи на склонах холмов, даже несколько излишняя сила тяжести, которую он ощущал всем телом, – убеждало его, что здесь действительно его дом, колыбель его народа, что красота этого мира принадлежит ему по праву.

Тишина, бесконечная тишина Анарреса. Он часто думал о ней по ночам. Там никогда не пели птицы. Там не было иных голосов, кроме голосов людей. Молчащая природа. Бесплодная земля.

На третий день старый Атро принес ему целую кипу газет. Пае, который чаще других составлял Шевеку компанию, ничего не сказал Атро, но, когда старик ушел, заявил:

– Все это мусор, доктор Шевек! Почитать, конечно, занятно, но только не верьте ничему, что прочтете в этих газетах.

Шевек взял самую верхнюю. Печать была плохая, бумага желтая, грубая. Впервые на Уррасе он держал в руках грубо сделанную вещь. Очень похоже на бюллетени КСПР или на региональные отчеты, которые на Анарресе выполняли функцию газет. Однако стиль здешних газет весьма сильно отличался от тех бюллетеней – практических, основанных на фактическом материале. Слишком много эмоций, восклицательных знаков и картинок. Он тут же наткнулся на собственную фотографию – сразу после приземления, в тот момент, когда Пае пожимал ему руку. На фотографии Шевек глядел хмуро. «Первый человек с луны!» – гласил огромный заголовок над фотографией. Заинтересованный, Шевек стал читать дальше:

«Это его первый шаг по нашей планете! Он наш первый гость со времен заселения Анарреса, то есть за последние 170 лет. Доктор Шевек сфотографирован во время своего прибытия на Уррас с рейсовым грузовым кораблем. Это известный ученый, лауреат премии Сео Оен, которой был удостоен за служение делу человечества. Доктор Шевек согласился занять место профессора в Университете Йе Юн – такой чести никогда еще не удостоивался ни один из ино-

планетян. На вопрос о том, каковы были его чувства, когда он впервые увидел Уррас вблизи, знаменитый физик ответил: „Для меня великая честь – быть приглашенным на вашу прекрасную планету. Надеюсь, что началась новая эра мирных дружеских отношений между планетами созвездия Кита, и отныне Уррас и Анаррес будут двигаться вперед вместе, как и подобает братьям“...»

– Но я же ничего подобного не говорил! – возмутился Шевек, глядя на Пае.

– Разумеется, нет! Мы этих газетчиков даже близко к вам не подпустили! Все это их выдумки. Они вполне способны написать то, чего вы не только никогда не говорили, но и никогда не намерены были говорить. И при этом вы вообще могли все время молчать или даже просто отсутствовать в данном конкретном месте.

Шевек прикусил губу.

– Ну хорошо, – сказал он наконец. – Вообще-то, если бы я тогда действительно решил что-то сказать, то примерно нечто подобное и сказал бы... Но что это за «созвездие Кита»?

– Это земляне называют наши планеты «созвездием Кита». Наверное, этим словом – «Кит» – они обозначают наше солнце. Пресса недавно подхватила этот термин и теперь пользуется им повсю. Знаете, незнакомое слово будит фантазию обывателя.

– Значит, в «созвездие Кита» входят и Уррас с Анарресом?

– Видимо, – нехотя сказал Пае с подчеркнутым безразличием.

Шевек продолжил знакомство с местной прессой. Он прочел, что, оказывается, похож на великана ростом с башню; что он – вы только представьте себе! – не бреет волосы и является обладателем целой гривы (интересно, что означает слово «грива»?) седеющих волос; что его размеры – 37, 43 и 56; что он написал большую работу по физике, которая называется «Принципы одновременности» (в зависимости от уровня газеты иногда встречалось и «Принципы АдноврИменности»); что он является добровольным посланником одонийского правительства (интересно?) Анарреса; что он вегетарианец и что, как и все жители Анарреса, ничего не пьет... Последнее утверждение его доконало, и он смеялся так долго, что заболели бока.

– Черт возьми, ничего не скажешь – воображение у них работает! Они, видно, считают, что мы живем за счет испарений, как мхи на скалах?

– Они хотели сказать, что вы не употребляете спиртных напитков, – сказал Пае, тоже смеясь. – Единственное, по-моему, что всем известно об одонийцах. Между прочим, это действительно так?

– Некоторые умудряются получать с помощью перегонки спирт из обработанных ферментами корней дерева-холум и пьют эту гадость – утверждают, что в результате возникает непередаваемая игра воображения, куда лучше аутогипноза. Но большинство все же предпочитает последнее – научиться этому несложно, и никаких заболеваний это не сулит. А что, здесь таких «любителей» много?

– Выпивки? Да, весьма. А о заболеваниях я ничего не знаю. Какое именно вы имели в виду?

– Алкоголизм, так, по-моему, оно называется.

– А, понятно... Но скажите, а как у вас, на Анарресе, развлекается рабочий люд? Когда после тяжелой работы хочет расслабиться, уйти от повседневных забот? С кем-нибудь провести ночь, наконец?

Шевек тупо смотрел на него:

– Ну, мы... не знаю. Возможно, от наших забот никуда не уйдешь...

– Странно, – сказал Пае и обезоруживающе улыбнулся.

Шевек снова углубился в газеты. Одна из них была на неизвестном ему языке; другая использовала совершенно незнакомую письменность. Первая издавалась в государстве Тху, пояснил Пае, а вторая – в Бенбили, в западном полушарии. Газета из Тху отличалась прекрас-

ным качеством печати и весьма скромными размерами; Пае сказал, что это «правительственная газета».

– Здесь, в А-Йо, образованная часть населения черпает информацию главным образом благодаря телефаксу, радио, телевидению и серьезным еженедельникам с обзорами новостей. А ежедневные газеты читают в основном представители низших классов – они и написаны полуграмотными людьми для таких же полуграмотных. Да вы уже и сами в этом убедились. У нас в А-Йо полная свобода прессы, что неизбежно приводит к тому, что мы получаем груды всякого газетного мусора. Газета из Тху сделана значительно более профессионально, однако в ней сообщается только то, что разрешено их Центральным Президиумом. Там цензура работает вовсю. Государство – это все, и все – для государства. Вряд ли подходящее место для одонийца, верно?

– А это что за письменность?

– Вот тут я, честное слово, почти ничего сообщить вам не смогу. Бенбили – страна довольно отсталая. И там без конца происходят какие-то революции.

– Однажды мы получили из Бенбили сообщение – на той волне, которой пользуется наш синдикат. Это произошло незадолго до моего отъезда... Эта группа людей называла себя одонийцами. А здесь, в А-Йо, есть подобные группы?

– Я о них никогда не слышал, доктор Шевек.

Стена. Шевек сразу узнал ее. Стеной служило обаяние этого молодого человека, его очаровательные манеры, его равнодушие.

– По-моему, вы меня боитесь, Пае! – сказал он вдруг резко.

– Боюсь вас, доктор?

– Потому что я – уже самим своим существованием – делаю необязательным доказательство необходимости государственной машины. Однако бояться меня не стоит. Я вас не съем, Сайо Пае. Вы же знаете, что лично я вполне безобиден... Послушайте, я не «доктор». Мы не употребляем титулы и звания. Меня зовут просто Шевек.

– Я знаю. Простите, доктор Шевек. Видите ли, на нашем языке это звучало бы неуважительно. Так нельзя обращаться к другим. Это неправильно! – Он извинялся, а глаза победоносно блестели: он был уверен, что ему все сойдет с рук.

– Неужели вы не можете воспринимать меня как равного? – спросил Шевек, наблюдая за ним без возмущения, без печали.

В кои-то веки Пае смутился:

– Но, доктор... вы же все-таки всемирно известная личность...

– А впрочем, с какой стати вам меня из-за меня свои традиции и привычки, – продолжал Шевек, как бы не слыша его. – В общем, не важно. Я просто подумал, что вам, быть может, приятно было бы избавиться от излишних церемоний, вот и все.

* * *

Три дня вынужденного сидения в помещении переполнили Шевека энергией, и, когда его наконец «выпустили на свободу», он буквально измотал сопровождающих, желая увидеть как можно больше и все сразу. Его водили по Университету, который уже сам по себе был равен вполне приличных размеров городу – шестнадцать тысяч студентов, множество факультетов. С общежитиями, комнатами отдыха, театрами, залами и тому подобным он не слишком отличался от студенческого городка одонийцев на Анарресе, разве что здания здесь были очень стары, помещения отличались невероятной роскошью, ни одного женского лица увидеть было невозможно, да и организован Университет Йе Юн был не по принципу федерации, а по принципу иерархии. И все-таки, думал Шевек, здесь почему-то сохранилось некое ощущение коммуны, научного сообщества. Ему все время приходилось напоминать себе, что он не дома.

Его возили за город, взяв напрокат автомобиль – обычно очень красивый и элегантный. На дорогах машин в целом было немного; взять машину напрокат было дорого, и совсем уж немногие владели частными автомобилями, поскольку при покупке (и за содержание) приходилось платить огромный налог. Подобные предметы роскоши, будучи разрешены совершенно свободно, непременно привели бы к невосстановимому истощению природных ресурсов или же к полному загрязнению окружающей среды, если бы не строжайший контроль в плане их распределения и налогообложения. Сопровождавшие Шевека говорили об этом не без гордости. А-Йо в течение многих веков занимало первое место среди государств планеты в плане экологического контроля и экономного расходования природных ресурсов. Эссессы девятого тысячелетия стали древней историей; единственным их неизбывным последствием осталась нехватка некоторых металлов, которые, к счастью, можно было импортировать с луны.

Путешествуя на машине или на поезде, Шевек видел деревни, фермы, города, укрепленные замки, сохранившиеся со времен феодализма; восхищался разрушенными башнями Ае, древней столицы А-Йо, и на севере – острыми белыми пиками гряды Мейтеи. Красота этой земли и благополучие ее народа не переставали удивлять его. Да, его гиды были правы: уррасти умеют хозяйничать в своем мире. В детстве Шевека учили, что Уррас – это гноящаяся масса пороков, несправедливостей и излишеств, всего ненужного нормальному человеку, «экскрементального». Однако все люди, которых он встречал на этой планете, даже в самых маленьких провинциальных деревушках, были хорошо одеты, здоровы и сыты и, вопреки его собственным ожиданиям, вполне деятельны и изобретательны. Они не слонялись тупо без дела, ожидая, когда им что-то прикажут. В точности как у них, на Анарресе, люди постоянно сами находили себе занятие, им вечно что-нибудь нужно было сделать. Это озадачило его. Он полагал, что если человека лишить основного побудительного мотива – собственной инициативы, желания созидать – и заменить его внешней мотивацией и принуждением, то человек этот станет работать лениво и равнодушно. Однако ни равнодушных, ни ленивых работников он что-то не замечал ни на одной из этих прелестных ферм. И уж конечно, не отупевшие от отсутствия собственной инициативы лентяи создавали эти превосходные автомобили и комфортабельные поезда. Соблазны «выгоды» оказались, видимо, куда более эффективным заменителем естественной инициативы, как приходилось признать.

Ему очень хотелось поговорить с этими крепкими, исполненными самоуважения людьми – жителями маленьких городков; спросить их, например, считают ли они себя бедняками. Ибо если это и есть бедняки, то ему придется полностью пересмотреть свое отношение к этому слову. Однако его провожатым, похоже, вечно не хватало времени – им слишком многое хотелось ему показать.

Остальные крупные города А-Йо находились слишком далеко от столицы, чтобы за один день на автомобиле можно было съездить туда и обратно. А вот в столицу Нио-Эссейю его возили довольно часто. Она находилась всего в пятидесяти километрах от Университета. Там за короткий период состоялась целая череда приемов в его честь. Это ему не слишком нравилось. Подобные приемы совершенно не укладывались в его представления о приятном времяпрепровождении. На них все были чрезвычайно изысканно вежливы, очень много говорили, и чаще всего попусту, и без конца улыбались. Из-за этих разговоров и улыбок присутствующие казались Шевеку чем-то встревоженными. Однако наряды уррасти были поистине великолепны; они, казалось, вкладывали всю веселость и легкомыслие, которых так недоставало их поведению, в одежду и яства, а также – в приготовление разнообразных напитков и коктейлей, которые здесь так любили. Достаточно кокетливым было и роскошное убранство комнат и залов, где проводились подобные приемы.

Его много возили по городу; население Нио-Эссейи составляло пять миллионов человек (примерно четверть населения его родной планеты). Он видел площадь Капитолия, гигантские бронзовые двери Директората; ему разрешили присутствовать на дебатах в Сенате и на засе-

дании одной из комиссий Совета директоров. Его сводили в зоопарк, в Национальный музей, в Музей науки и промышленности. Привели в школу, где очаровательные детишки в синевелых формах специально для него спели государственный гимн А-Йо. Он посетил завод электронного оборудования, полностью автоматизированный сталелитейный завод, атомную электростанцию. Все это делалось для того, чтобы он своими глазами увидел, сколь эффективно развивается экономика «этого государства собственников» и как экономно она расходует свои энергетические ресурсы. Ему продемонстрировали также новые участки жилой застройки, где дома строило государство, – чтобы он понял, как государство заботится о своих гражданах. Потом на пароходике они совершили прогулку по эстуарию реки Суа, забитому разнообразными судами, прибывшими сюда со всех концов планеты, и даже немного проплыли по открытому морю. Он побывал на заседании Верховного суда и целый день слушал различные гражданские и уголовные дела – чем был чрезвычайно потрясен и даже напуган. Однако его заставили посмотреть все, что, с точки зрения его провожатых, стоило посмотреть, а также то, что хотелось посмотреть ему самому. Когда он несколько неуверенно спросил, нельзя ли съездить на могилу Одо, его моментально отвезли на старое кладбище в районе Транс-Суа и даже разрешили репортерам из презренных газет сфотографировать его – в тени огромных старых ив у простого, однако отлично ухоженного надгробия с надписью:

Лайя Асьео Одо

698–769

Быть целым – не значит не быть частью.

Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение.

Затем его отвезли в Родарред – место, где заседает Совет Государств Планеты: он намерен был обратиться к Совету с приветственным словом. Он очень надеялся встретить там кого-нибудь из инопланетян – послов с Земли или с Хайна, – однако распорядок его дня был составлен по чрезвычайно жесткому графику, и подобное мероприятие туда никак не вписывалось. Он очень много работал над своей речью, в которой содержалась просьба об установлении свободы общения между двумя мирами и об их взаимном признании. Его выступление было встречено десятиминутной овацией. Наиболее уважаемые, элитарные еженедельники одобрительно прокомментировали это событие, назвав речь Шевека «бескорыстным душевным порывом великого ученого-инопланетянина», однако ни одной цитаты из выступления Шевека не привели; как и массовая пресса, впрочем. На самом деле, несмотря на устроенную овацию, у Шевека осталось странное ощущение, что никто его выступления вообще не слышал. А может, не слушал.

Ему было предоставлено право и возможность посетить множество мест: Лабораторию по исследованию природы света, Национальный архив, Лабораторию ядерных технологий, Национальную библиотеку в Нио, увидеть ускоритель частиц в Мифеде, заглянуть в Фонд космических исследований в Дрио. Хотя все, что он видел на Уррассе, только разжигало его аппетит, и ему хотелось смотреть еще и еще, однако же нескольких недель «жизни туриста» утомили его: все это было настолько восхитительно, поразительно и великолепно, что в конце концов набило оскомину. Ему уже хотелось остаться в Университете, спокойно поработать, подумать – хотя бы некоторое время. Однако же в последний день осмотра достопримечательностей он сам попросил, чтобы его подольше поводили по Фонду космических исследований. Пае был этой его просьбой очень доволен.

Многое из того, что он видел в последнее время, вызывало у Шевека, пожалуй, даже некоторую оторопь – настолько все это было древним, построенным много веков или даже тысячелетий назад. Но здание Фонда, напротив, было совершенно новым, построенным в изысканном и элегантном современном стиле. Его архитектура показалась Шевеку поистине драматичной. Видимо, это достигалось за счет игры красок, благодаря чему пропорции здания как бы посто-

янно менялись. Лаборатории были просторны и полны воздуха; вспомогательные предприятия и хранилища запчастей, реактивов и прочих необходимых для работы ингредиентов разместились за прелестной колоннадой, соединенной арками. Ангарты поражали своими размерами; они были точно соборы с цветными стенами витражей и фантастическими пейзажами. Люди же, которые там работали, казались очень спокойными и солидными. Они тут же увели Шевека с собой, избавив его от надоевших гидов, и сами показали ему свой Фонд, включая все стадии экспериментального исследования новой межгалактической тяги, над которой в данный момент работали, – от компьютерных схем до полуготового корабля, гигантского и совершенно сверхъестественного – в оранжевых, фиолетовых и желтых огнях, – внутри огромного геодезического ангара.

– У вас уже столько всего сделано! – сказал восхищенный Шевек одному из тех инженеров, которые вызвались его сопровождать; этого инженера звали Оеgeo. – И столько еще предстоит сделать! И вы просто отлично справляетесь со всеми задачами! У вас великолепно поставлены координация и кооперация, а каков размах!

– Ну а вам-то, со своей стороны, разве нечего положить на весы? – улыбнулся инженер.

– Ну не космические же корабли? Наш космический флот состоит из тех развалин, на которых прилетели первые поселенцы почти двести лет назад. Для того чтобы построить самый обыкновенный корабль – скажем, баржу, на которой перевозят по морю зерно, – нам приходится все планировать за год, ибо даже такое усилие требует большого напряжения всей экономики Анарреса.

– Да, товары-то у нас есть, это правда, – кивнул Оеgeo. – Но знаете, ведь, как ни странно, а вы и есть тот самый человек, который запросто может сказать нам: «А ну-ка, братцы, пустите-ка все это на металлолом!»

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду создание суперсветовых кораблей, – сказал Оеgeo. – Квантовые переходы. Нуль-передачу. Старые физики говорят, что это невозможно. Земляне, например. А вот хайнцы, которые в конце концов ту тягу и придумали, которой мы сейчас пользуемся, думают иначе. Только они пока не знают, как этого добиться на практике. Ведь сейчас-то они методы исследования у нас заимствуют – особенно в области элементарных частиц, то есть физики времени... Совершенно очевидно, доктор Шевек, что если решение этой задачи уже у кого-то в кармане – в известных нам мирах, разумеется, – то таким человеком можете быть только вы.

Шевек посмотрел на него холодно, взгляд его светлых глаз был тверд.

– Я теоретик, Оеgeo. Не изобретатель.

– Если вы сумеете создать общую теорию времени, объединяющую классическую физику, квантовую теорию и принцип одновременности, то корабли мы изобретем. И окажемся на Земле, или на Хайне, или в другой галактике буквально в тот же миг, как покинем Уррас! Эта посуда, – и он посмотрел вниз, где в ангаре покоилась громада недостроенного корабля, – будет тогда казаться столь же допотопной, как телега, запряженная волами.

– Вы строите современный корабль и одновременно мечтаете о будущем – как это прекрасно! – сухо откликнулся Шевек, сохраняя прежнюю настороженность.

И хотя здешние инженеры еще многое хотели показать ему и обсудить с ним свои планы, он вскоре сказал с той простотой, которая исключала всякую ироническую интерпретацию:

– По-моему, я вас достаточно утомил, так что лучше вам вернуть меня в общество моих гостеприимных хозяев.

Они выполнили его просьбу и тепло распрощались с ним. Шевек сел в машину, потом снова вылез и спросил:

– Я все время забываю... У нас есть время, чтобы посмотреть в Дрио еще одну вещь?

– Но в Дрио больше ничего интересного нет, – сказал Пае, как всегда вежливый и очень старавшийся скрыть свое раздражение во время пятичасовой эскапады Шевека по лабораториям и ангарам Фонда.

– Я бы хотел увидеть крепость.

– Какую крепость, доктор Шевек?

– Старинный замок, оставшийся еще со времен королей. Впоследствии его использовали как тюрьму.

– Все подобные сооружения здесь были разрушены. Фонд полностью перестроил этот город.

Когда они уже сидели в машине и шофер закрывал дверцы, Чифойлиск (возможно, еще один источник дурного настроения Пае) спросил:

– А зачем вам понадобился еще один старый замок? По-моему, вы видели их более чем достаточно.

– В крепости Дрио Одо провела девять лет, – ответил Шевек. Лицо у него было замкнутым и решительным – таким оно стало после разговора с Оеgeo. – После восстания в семьсот сорок седьмом году. Там она написала свои «Письма из тюрьмы» и «Аналогию».

– Боюсь, что этой крепости больше не существует, – с сочувствием сказал Пае. – Дрио был практически умирающим городом, и Фонд попросту стер его с лица земли и построил заново.

Шевек понимающе кивнул. Но когда машина ехала по берегу реки Сейсс к повороту на Йе Юн, в излучине промелькнуло странное здание на утесе – тяжеловесное, полуразрушенное, какое-то неумолимое, с осыпавшимися башнями из черного камня, чудовищно отличавшееся от великолепных легких строений Фонда космических исследований, от его белоснежных куполов, ярко раскрашенных стен, аккуратных лужаек и прихотливо проложенных тропинок. И ничто иное не могло оттенить их более сурово, так что сейчас они казались всего лишь картинками на конфетных обертках.

– Вот, по-моему, как раз и есть та крепость, – заметил Чифойлиск, испытывая, как всегда, удовлетворение оттого, что удалось чем-то досадить Пае.

– Она же вся разрушена, – сказал Пае. – И должно быть, пуста.

– Хотите остановиться и осмотреть ее, Шевек? – спросил Чифойлиск, готовый уже постучать в прозрачную перегородку, отделявшую их от шофера.

– Нет, – коротко ответил Шевек.

Он уже увидел то, что хотел: в Дрио по-прежнему была тюрьма. Ему необязательно было входить в крепость и искать в развалинах ту темницу, где Одо провела девять лет своей жизни. Он знал, что это такое.

Сурово и холодно смотрел он на вздымавшиеся почти над самой дорогой тяжеловесные башни и стены. «Я здесь стою с давних времен, – говорила Крепость, – и еще долго буду стоять здесь».

Вернувшись в свои апартаменты – после обеда в столовой для преподавательского состава и аспирантов, – он уселся, наслаждаясь одиночеством, у незажженного камина. В А-Йо стояло лето, близилось летнее солнцестояние, самый долгий день в году, и сейчас, в девятом часу вечера, было еще совсем светло. Небо за арками окон играло дневными красками – чистое, голубое, теплое. Воздух был легкий и приятен, пахло скошенной травой и влажной землей. В часовне по ту сторону лужайки горел свет, и оттуда доносилась негромкая музыка. Это было не пение птиц: кто-то упражнялся в игре на фисгармонии. Шевек прислушался. Музыкант разучивал «Гармонию чисел», хорошо знакомую Шевеку с детства, как, впрочем, и любому жителю Урраса. Одо не пыталась изменить что-либо в основах музыкального строя. В отличие от общественного. Она всегда уважала то, что было жизненно необходимо всем людям. Поселенцы на Анарресе отказались от законов, выдуманных людьми, их предшественниками, однако оставили неприкосновенными законы музыкальной гармонии.

Просторная комната была полна теней и тишины; за окном уже сгущались сумерки. Шевек огляделся: идеальной формы арки высоких окон, отлично натертый старинный паркет, могучий, скрывающийся в полумраке изгиб дымохода огромного камина, обитые деревянными панелями стены прекрасных пропорций... Это был очень удобный для жизни и очень старый дом. Корпус «Старшего факультета», где жили преподаватели и аспиранты, как сообщали Шевеку, был построен в 540 году, то есть четыреста лет назад. За 230 лет до заселения Анарреса. Многие поколения ученых жили и работали здесь; здесь они вели беседы, думали, спали, умирали – задолго до того, как появилась на свет Одо. «Гармония чисел» плыла над лужайкой, над темной листвой рощи – ее играли здесь много раз в течение многих веков! «И я была здесь в те времена, – говорила Шевеку комната, в которой он сидел, – и я еще долго буду здесь, когда тебя уже не будет ни здесь, ни вообще на свете. И вообще, что ты здесь делаешь?»

У него не было ответа. И не было права на красоту и щедрость этого мира, созданного трудом и поддерживаемого за счет труда, преданности, верности тех, кто его населяет. Рай существует для тех, кто его создает. Он не принадлежит к этому миру. Он здесь чужой. Он из пограничной области. Из породы тех людей, что отреклись от собственного прошлого, от собственной истории. Поселенцы Анарреса повернулись спиной к Старому Миру, забыли свое, общее с ним прошлое, предпочли для себя одно лишь будущее. Но, как известно, будущее в итоге всегда становится прошлым, и это столь же верно, как и то, что прошлое обернется будущим. Отрицать – не значит приобретать. Одонийцы, покинув Уррас, были не правы в своей отчаянной мужественной попытке отказаться от истории своего народа, отрицать ее, отрезать для себя всякую возможность возврата в прошлое. Исследователь, который не желает возвращаться назад или хотя бы послать назад корабль, чтобы кто-то рассказал историю его путешествия, – это не исследователь, а всего лишь авантюрист, любитель приключений; и его сыновья окажутся рожденными в ссылке!

Шевек уже успел полюбить эту прекрасную планету, но что хорошего было в его тоскливой любви? Он не был частью этого мира. Как не ощущал себя частью и того мира, в котором родился.

Уверенность в том, что теперь он остался совсем один, которую он ощутил в свои первые часы на борту «Старательного», снова тяжелой волной затопила его душу; одиночество – вот та абсолютная истина, на которую он старается не обращать внимания, о которой всячески старается забыть, но которая тем не менее существует. Один – вот единственно подлинное его состояние.

Здесь он одинок, потому что является членом того общества, которое само себя отправило в ссылку – отсюда. А на родной планете одинок потому, что сам себя отправил в ссылку – от своего общества. Переселенцы сделали один шаг в сторону от родного дома. Он сделал два. И был дважды одинок, потому что пошел на метафизический риск – и проиграл.

Он был достаточно глуп, чтобы думать, будто это может помочь сближению двух миров, ни к одному из которых сам не принадлежал.

Внимание его вдруг привлекла синевя ночного неба за окном. Над темной массой листвы и шпилем часовни, над темной линией гор на горизонте, которые ночью всегда казались менее высокими и более далекими, разливался свет – мощный, но мягкий. «Луна всходит», – подумал он, радуясь обыденности этого явления. В потоке времени не бывает разрывов. В детстве вместе с Палатом он смотрел, как всходит луна за окнами интерната в Широких Долинах. Луна всходила и над холмами его отрочества, и над иссушенными барханами пустыни Даст, и над крышами Аббеная, где он любовался ею вместе с Таквер...

Но то была другая луна.

Тени двигались вокруг, постепенно смещаясь, а Шевек сидел не шевелясь и смотрел, как его родной Анаррес поднимается над здешними холмами в великолепии своего «лунного»

сияния и на его голубовато-белой поверхности видны пятнышки горных массивов и каменных пустынь. И свет далекой родины наполнил его пустые руки.

4

Анаррес

Клонившееся к западу солнце, своими лучами ударив Шевеку прямо в лицо, разбудило его, когда дирижабль, миновав последний перевал в горах Не-Терас, повернул к югу. Большую часть дня Шевек проспал. Прощальная вечеринка и та долгая ночь после нее, казалось, остались где-то в далеком прошлом, в другом полушарии. Он зевнул, протер глаза и тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей монотонное низкое гудение мотора, и совершенно проснулся, осознав, что путешествие подходит к концу, что дирижабль, наверное, уже подлетает к Аббенаю. Шевек прижался лицом к пыльному окну – так и есть! Внизу, между двумя ржавого цвета горными хребтами, он увидел огромное, окруженное стеной поле – космопорт. Он смотрел с любопытством, надеясь заметить какой-нибудь космический корабль. Пусть мир Урраса все презирают, но это все же иной мир! А Шевеку очень хотелось увидеть корабль из иного мира, переплывший бездну космоса, созданный руками инопланетян. Однако в порту никакого космического корабля на этот раз не оказалось.

Грузовые корабли с Урраса прилетали восемь раз в год и оставались на Анарресе ровно столько времени, сколько требовалось на разгрузку и погрузку. Они отнюдь не были здесь желанными гостями. Скорее для большей части анаррести они служили причиной обострения комплекса собственной неполноценности.

С Урраса сюда привозили нефть и нефтяные продукты, некоторые запчасти, например детали электронного оборудования, которые промышленность Анарреса не производила сама. Также довольно часто на Анаррес доставлялся какой-нибудь новый сорт фруктовых деревьев или зерновых культур для опытных посадок. На Уррасе корабли улетали, «под завязку» загруженные ртутью, медью, алюминием, ураном, оловом, золотом... Для уррасти это была отличная сделка. Распределение грузов, которые восемь раз в год доставляли с Анарреса, было на Уррасе одной из наиболее престижных функций Совета Государств Планеты, а также главным событием на рынке промышленного сырья. Таким образом, Свободный Мир Анарреса на самом деле являлся колонией соседней планеты, ее сырьевым придатком.

Это, безусловно, раздражало жителей Анарреса. Из года в год во время дебатов в Координационном совете по производству и распределению в Аббенае высказывались громогласные протесты: «До каких пор мы будем вести этот спекулятивный, грабительский обмен с проклятыми собственниками, которые вот-вот развяжут очередную войну?» И более холодные головы всегда находили один и тот же ответ: «Уррасу обошлось бы куда дороже самому добывать здесь необходимое сырье, только поэтому они нас не трогают и не пытаются захватить нашу планету. Но если мы первыми нарушим Торговое соглашение, они применяют силу». Однако людям, которые совершенно незнакомы были ни с денежной системой, ни с капиталистической экономикой, очень трудно было понять психологию своих соседей, аргументы рыночного хозяйства. Мирное сосуществование с Уррасом в течение семи поколений не выработало в них доверия к «этим собственникам».

А потому Синдикат охраны космопорта никогда не испытывал недостатка в волонтерах. Честно говоря, работа охранников была настолько скучна, что на языке правик даже и работ той-то не называлась: для ее обозначения чаще всего использовалось довольно презрительное слово «клеггиш», которое вполне можно было перевести как «ничегонеделание». В обязанности охраны входило поддержание в рабочем состоянии двенадцати старых межпланетных космических кораблей, которые постоянно оставались на орбите как сторожевые, а также осуществляли сканирование с помощью радаров и радиотелескопов наиболее удаленных и безлюдных районов Анарреса. Вся нудную «бумажную» работу в порту также осуществляли охранники. И тем не менее желающих вступить в охрану всегда было полно. Сколь бы прагматичным

ни был тот или иной юный житель Анарреса, все же юность требовала проявления альтруизма, самопожертвования, стремления к Абсолюту. Одиночество, настороженность, опасность, грозившая из космоса, – все это давало роскошную почву для воображения, скрывая монотонность будней под флером романтики. Отзвуки полудетских романтических мечтаний и заставили Шевека прилипнуть носом к иллюминатору, пока пустующий космопорт не исчез вдали, оставив в душе горькое разочарование – ведь ему так и не удалось увидеть ничего интересного, хотя он знал, что грузовики, вывозящие с Анарреса руду, весьма непривлекательны и неопрятны.

Шевек зевнул, потянулся и снова выглянул в окно, надеясь вскоре увидеть впереди конечную цель своего полета. Дирижабль летел над последней невысокой грядой Не-Терас. И вот к югу от горных отрогов взору открылся, блестя на солнце, зеленый простор, похожий на как бы накренившийся почему-то морской залив.

Шевек с изумлением смотрел на это чудо – точно так же шесть тысячелетий назад смотрели на долину Аббена его далекие предки.

В третьем тысячелетии на Уррасе астрономы-священники из монастырей Сердону и Дхун не раз наблюдали сезонную смену цветов – бурых на ярко-зеленые – в Верхнем Мире и давали мистические названия тамошним равнинам, горным хребтам и блестящим на солнце морям. Та часть планеты, которая с наступлением нового лунного года становилась зеленой ранее всех остальных, была названа ими Анс Хос, «сад разума»: Рай Анарреса.

В последующие тысячелетия, рассмотрев Анаррес в телескопы, ученые доказали, что древние астрономы были совершенно правы. Анс Хос был действительно самым благоприятным для жизни местом на этой планете; и первый же посланный на луну космический корабль совершил посадку именно там, в зеленой долине между горами и морем.

Однако даже Рай Анарреса оказался засушливым и холодным; к тому же здесь постоянно дули ветры. На остальной части планеты было еще хуже. Основными представителями фауны и флоры были рыбы и не дающие цветов странноватые растения. В воздухе ощущался недостаток кислорода – он был разреженный, как на горных вершинах Урраса. Солнце в этом «раю» обжигало, ветер леденил, пыль удушала.

В течение двух столетий после первой посадки космического корабля на Анарресе географы и геологи вели здесь всесторонние интенсивные исследования, составили множество карт, однако колонизация планеты в планах не стояла. К чему перебираться в эти ужасные пустыни, когда в плодородных долинах Урраса места более чем достаточно?

Однако шахты на Анарресе были построены. Хищническая эксплуатация собственных недр в девятом и начале десятого тысячелетия совершенно опустошила рудные пояса Урраса; да и космическая транспортировка все более совершенствовалась – становилось дешевле добывать сырье на луне, чем выплавлять необходимые металлы из руды с крайне низким их содержанием или добывать нужные химические элементы из морской воды. В IX-738 году по летоисчислению Урраса было основано первое крупное поселение у подножия горного хребта Не-Терас, в долине Анс Хос. Там неподалеку добывалась ртуть. Этот город на луне называли Анаррес. На самом деле это был не настоящий город: там не было ни одной женщины. Мужчины подписывали контракт на два-три года и летели туда работать шахтерами или техниками, а потом возвращались домой, в настоящий мир.

Луна и ее шахты находились в юрисдикции Совета Государств Планеты; однако никто не знал, что на обратной стороне луны, в ее восточном полушарии, государство Тху давно уже тайно создало собственный небольшой космодром и поселение золотоискателей с женами и детьми. Они действительно жили на луне, и никто на Уррасе не знал об этом, кроме правительства Тху. И только после революционных событий в Тху и падения тогдашнего правительства в 771 году на Совете Государств Планеты возникло предложение передать луну Международному обществу одонийцев – откупиться от них этой мало приспособленной для жизни

планетой, прежде чем они окончательно расшатывают государственные устои Урраса. Городок Анаррес был эвакуирован; в государстве Тху также началась суматоха; за золотоискателями и членами их семей спешно были посланы две последние ракеты. Но не все из них захотели вернуться. Некоторым эти страшные пустыни, оказывается, чем-то полюбились.

Более двух десятков лет двенадцать кораблей, безвозмездно предоставленных одонийцам Советом Государств, сновали между двумя планетами, пока окончательно не перевезли на Анаррес тот миллион человек, что выбрали для себя новую жизнь на новой планете. Затем порт на Анарресе закрыли для иммиграции, и теперь он по Торговому соглашению принимал лишь грузовые корабли строго определенное число раз в год. К этому времени в бывшем городе Анаррес проживали уже сто тысяч человек, и он был переименован в Аббенай, что означало – на новом языке нового общества – «разум».

Децентрализация являлась у Одо важнейшим элементом плана социального строительства, однако она даже до начала воплощения этого плана в жизнь не дожила. Она не имела намерения уничтожить города как оплот цивилизации, хотя предложила, чтобы естественные пределы размера коммуны основывались на факторе вполне объективном: наличии необходимого запаса пищи и энергетических ресурсов в районе непосредственного проживания данной общности людей. Она предполагала, что все эти небольшие коммуны будут связаны сетью коммуникационно-транспортных средств, чтобы обмен идеями и товарами мог осуществляться в зависимости от потребностей, а управление этим процессом было быстрым и несложным и ни одна из коммун не чувствовала бы себя изолированной от остальных. Однако никакой иерархии, никакого «принципа пирамиды» Одо не допускала ни в чем. Не должно было быть ни некоего «контролирующего центра», ни столицы, ни способной к самозарождению и самовозрождению бюрократической машины, ни сколько-нибудь большой группы отдельных личностей, проявивших стремление стать «главными» – командирами, капитанами, руководителями предприятий, главами государств.

Ее идеи и планы, однако, зародились на щедрой земле Урраса. В пустынях Анарреса малочисленные коммуны одонийцев вынуждены были рассеяться по огромному пространству в поисках источников поддержания жизни; лишь немногие были в состоянии сами обеспечить себя всем необходимым, сколько бы поселенцы ни старались «обстричь» свои представления о том, что именно необходимо человеку для нормального существования. В этом они весьма преуспели, однако определенный минимум потребностей все же оставался. Возвращаться назад по дороге цивилизации не хотелось и совершенно не хотелось, чтобы их новое замечательное общество приходило в упадок, чтобы оно вернулось к доурбанистской, дотехнологической эре родо-племенных отношений. Они понимали, что их анархизм – это также продукт развитой цивилизации, сотканной из множества самых различных культур, стабильной экономики и высокого уровня промышленной технологии, способной обеспечить соответствующий уровень производства и быстро решить любые транспортные проблемы. Однако же, сколь бы огромны ни были расстояния между отдельными городками на Анарресе, поселенцы продолжали придерживаться идей комплексного развития своего общества. Сперва они построили дороги, а потом уже дома. Драгоценное для Урраса сырье, добывавшееся в шахтах Анарреса, а также продукция каждого из населенных районов осваиваемой планеты находились в процессе постоянного сложного обмена с целью достижения некоего «уравновешенного разнообразия» – одного из наиболее важных условий природной и социальной экологии Анарреса.

Однако, согласно утверждениям самих анаррести, нельзя, обладая нервной системой, не иметь при этом ни одного нервного узла; также весьма желательно иметь «мозг», то есть некий управленческий центр. Компьютеры, осуществлявшие распределение вещей и рабочих мест, а также центральные представительства большей части синдикатов и федераций находились в Аббенае практически с самого начала заселения планеты. И практически с самого начала посе-

ленцы сознавали, что над ними нависла угроза неизбежной централизации, – вечная угроза любого общества, вызванная к жизни стремлением к власти и насилию.

Анархия, мое дитя!
Ты обещаний бесконечность и осторожности...
Я слушаю и слушаю, как ночь качает колыбель твою,
Анархия. О наша дочь!

Пио Атеан, который взял себе на языке правик имя Тобер, написал эти стихи на четырнадцатом году от начала заселения. Первые попытки одонийцев создать на новом языке поэзию – платье для своего юного мира – были довольно неуклюжи, бескорыстны и трогательны...

Аббенай, мозг и сердце Анарреса, раскинулся перед Шевеком посреди огромной зеленой равнины.

Этот великолепный, глубокий зеленый цвет, цвет полей и лугов, невозможно было не узнать: он не был свойствен Анарресу. Только здесь да еще на побережье теплого Керанского моря вызревали злаки, семена которых были привезены из Старого Мира. Во всех остальных местах основными культурами были разновидности дерева-холум и бледная жесткая трава мене.

Когда Шевеку исполнилось девять, его, как и всех детей, обязали в течение нескольких месяцев после занятий помогать садовнику ухаживать за декоративными растениями, посаженными на территории интерната и всего городка Широкие Долины. Это были нежные экзотические травы и кустарники, привезенные с Урраса, которые нуждались в подкормке, точно младенцы, и боялись прямых солнечных лучей. Тогда Шевек, помогая старому садовнику в этом мирном, хотя и довольно изнурительном труде, полюбил и самого старика, и привередливые растения, и упрямую землю, и саму эту работу. Увидев зелень Аббенайской долины, он вспомнил старого садовника, противный запах удобрений из рыбьего жира и цвет едва проклюнувшейся листы на хрупких веточках – этот чистый, животворный зеленый цвет.

Вдали, среди живописных полей, виднелось продолговатое белое пятно, постепенно распадавшееся на кубические формы, точно расколотый комок каменной соли. Это были далекие здания Аббеная.

Через ослепительных вспышек на восточной окраине города заставила Шевека прищуриться, и тогда он на мгновение увидел темные огромные параболы зеркал, обеспечивавших солнечной энергией предприятия Аббеная.

Дирижабль сел на площадку товарной станции в южной части города, и Шевек отправился в дальнейший путь пешком.

Улицы этого самого большого на Анарресе города были широкими, чистыми и совершенно лишенными тени. Аббенай находился менее чем в тридцати градусах от экватора, и здания в нем были исключительно одноэтажные; над ними торчали лишь прочные пустотелые вышки ветряков. В казавшемся твердым темно-синем, почти фиолетовом, небе сияло белое солнце. Воздух был чист, прозрачен и сух – ни дымка, ни влажной пелены тумана. Все вещи казались удивительно живыми, все углы и края – очень острыми и твердыми, во всем была четкость и ясность, определенность. Все здания стояли как бы отдельно, как бы сами по себе, прочные и независимые.

Аббенай, в общем, был точно таким же, как и любой другой город одонийцев, только все в нем как бы повторялось несколько раз: мастерские, фабрики, общежития, интернаты, учебные центры, залы для различных собраний, распределительные центры, склады, столовые... Наиболее крупные здания часто группировались вокруг открытых площадей, обрамляя их и делая город похожим на соты. Предприятия тяжелой и пищевой промышленности сосредоточены были в пригородах, и каждая группа предприятий обычно группировалась тоже по

принципу «сотовых ячеек», окружая площадь или часть улицы. Первыми Шеваку навстречу попались текстильные предприятия – здесь занимались переработкой волокна дерева-холум и изготовлением из него тканей, пошивом одежды и белья. Здесь же находились и красильные предприятия, а также – текстильные распределительные центры. Посреди каждой из площадей-ячеек торчал небольшой «лесок» из шестов, украшенных сверху донизу разноцветными флажками, демонстрируя всем возможности местных красильщиков. Дома по большей части были похожи один на другой – простые, прочные каменные строения. Шеваку некоторые здания показались очень большими, однако же практически все они тоже были одноэтажными: здесь часто случались землетрясения. По тем же причинам окна были маленькие, а вместо стекол – прочный силиконовый пластик, который не давал трещин. Впрочем, окон было много – в помещениях искусственным светом здесь с рассвета до заката пользоваться было не принято. Не включали также и отопление, если температура на улице была выше пятнадцати градусов. Дело даже не в том, что Аббенаю не хватало электроэнергии, – ее в избытке давали ветряки и «земляные» генераторы, работа которых была основана на разнице температур воздуха и почвы и которыми обычно пользовались для обогрева жилья; просто принцип «органичной экономии» был слишком важен для нормального функционирования одонийского общества, оказывая воздействие на всю систему его этических и эстетических ценностей. «Все избыточное, излишнее в организме превращается в экскременты, – писала в своей „Аналогии“ Одо. – А экскременты, задерживающиеся в организме, отравляют его».

Аббенай был начисто лишен подобной «отравы»: пустой, чистый, светлый город, все цвета очень яркие, воздух прозрачен. Кругом тишина. Аббенай был действительно похож на рассыпанную по равнине горсть крупной соли.

Здесь никто ничего не прятал.

Площади, строгие улицы, низкие дома, не обнесенные стенами дворы мастерских – всюду кипела жизнь, и Шевек постоянно ощущал это. Люди вокруг него куда-то шли, что-то делали, о чем-то беседовали. Мелькали их лица, звучали голоса, кто-то сплетничал, кто-то пел, вокруг были живые люди, люди, занятые трудом. Мастерские и фабрики воротами своими выходили на площади или в открытые дворы. И ворота эти были распахнуты настежь. Шевек, проходя мимо фабрики стеклянных изделий, видел, как стеклодув выдувает из расплавленной массы стекла огромный пузырь; для него это было столь же обычным делом, как для повара – приготовить суп. Рядом был другой двор, где тоже кипела работа, – здесь из «пенного камня» отливали нужные для строительства формы; работой руководила огромная женщина в халате, белом от пыли. Она то и дело что-то громко кричала красивым грудным голосом своим подручным. Потом Шевек миновал небольшую проволочную фабрику, потом – районную прачечную, мастерскую по изготовлению и починке музыкальных инструментов, небольшой районный распределительный центр, театр, мастерскую по изготовлению черепицы... Всюду кипела работа – это буквально завораживало его. Тут же поблизости крутились дети; кое-кто из них помогал взрослым, малыши лепили из грязи пирожки и куличики, ребятишки постарше играли в свои игры, а одна девочка, забравшись на крышу учебного центра, сидела там, уткнувшись носом в книгу. Проволочная фабрика украсила свой фасад раскрашенными вьющимися растениями из проволоки – выглядело очень мило. Из дверей прачечной вырывались облака пара и обрывки разговоров. Ни одна дверь не была заперта, да и закрыты были немногие. Невозможно было ошибиться, попасть не туда, хотя нигде не было никаких объявлений. Все было на виду – вся работа, вся жизнь города. То и дело по Складской улице проплывал грузовик с готовой продукцией, предупреждая о своем появлении звоном колокола, или проезжал полный людей автобус, и на каждой остановке его ждали еще люди, и старухи ругались, если автобус отъезжал раньше, чем они успевали сойти на своей остановке, и малыш на самодельном трехколесном велосипеде с «бешеной» скоростью гнался за автобусом, и электрические искры сыпались голубым дождем на перекрестках из трамвайных проводов – словно спокойная мощ-

ная жизненная сила улиц то и дело достигала некой критической точки и должна была сбросить напряжение, делая это с грохотом, треском, с водопадом голубых искр и запахом озона. Это, правда, были всего-навсего аббенайские трамваи, однако в такие минуты невозможно было не ощутить радостного восторга.

Складская улица заканчивалась просторной площадью, куда выходило еще пять других улиц и где был треугольной формы небольшой парк с настоящими деревьями и травой. По большей части парки на Анарресе представляли собой вытоптанные площадки, обсаженные цепочкой жидких кустарников и деревьев-холум. Но этот Треугольный парк был совсем другим. Шевек перешел площадь по пешеходной дорожке и углубился под сень деревьев. Это было восхитительно; он не раз видел Треугольный парк на картинках, и ему давно хотелось увидеть вблизи деревья, привезенные с Урраса, внимательно рассмотреть каждый зеленый листок в их густых кронах. Солнце садилось, небо было широким и чистым; в зените закатные краски сгущались до красно-фиолетового – это тьма космического пространства просвечивала сквозь неплотную атмосферу планеты. Тревожное, настороженное чувство охватило Шевека. Разве не слишком их много, этих густых листьев? Дерево-холум вполне успешно существует со своими редкими колючими иглами, без всяких там излишеств и роскошеств, вроде густой листвы. Неужели эта пышная богатая растительность тоже «экскрементальна»? Такие деревья не могут существовать без богатых почв, без постоянного полива, без хорошего ухода. Ему были, пожалуй, даже неприятны в этих деревьях изобилие зеленой листвы и полнейшее отсутствие экономии. Он бесцельно брел среди них, инопланетная трава под ногами была мягкой и упругой, – казалось, ступаешь по живой плоти. От этой мысли он шарахнулся обратно на тропинку. Темные ветви деревьев раскинулись у него над головой, шевеля над ним множеством своих маленьких зеленых ручек-веточек. Восторг и ужас одновременно охватили Шевека: он понимал, что его БЛАГОСЛОВЛЯЮТ, хотя и не просил о благословении.

Чуть впереди он заметил у темнеющей тропы на каменной скамье человека, читавшего книгу, подошел к нему и остановился.

Человек сидел, опустив голову, в золотисто-зеленых сумерках. Это была женщина лет пятидесяти-шестидесяти, несколько странно одетая, волосы стянуты на затылке узлом. Левая рука, на которую она опиралась подбородком, практически скрывала сурово сжатые губы, правая рука придерживала страницы рукописи, лежавшей у нее на коленях. Рукопись была толстой и, видно, тяжелой; тяжелой была и холодная рука на ней. Свет быстро меркнул, однако она так и не подняла глаз от страницы. Она продолжала читать гранки своей работы: «Социальный организм».

Некоторое время Шевек, будто зачарованный, смотрел на статую Одо, потом присел на скамью с нею рядом.

У него не было никаких представлений о социальной или какой бы то ни было еще иерархии, да и на скамье вполне хватало места. Он сел с нею рядом в порыве дружеского расположения и восхищения.

Он смотрел на сильный печальный профиль Одо, на ее руки, руки старой женщины. Потом посмотрел вверх, сквозь темнеющую листву. Впервые в жизни он осознал: Одо, чье лицо было ему знакомо с детства, чьи идеи занимали центральное и неизменное место в его душе и в душах каждого из тех, кого он знал, эта Одо НИКОГДА НЕ СТУПАЛА НА ЗЕМЛЮ АНАРРЕСА, она жила, умерла и была похоронена на Уррасе, в тени покрытых зеленой листвой деревьев, в невообразимо огромном городе Нио-Эссейя, среди людей, говорящих на неведомом ему, Шевеку, языке, – в другом мире! Одо, инопланетянка, здесь была в ссылке.

Юноша сидел в сумерках рядом со статуей великой мыслительницы, и оба были одинаково тихи.

Наконец, осознав, что стало почти темно, Шевек встал и пошел прочь – снова по улицам города, без конца спрашивая, как пройти к Центральному институту естественных наук.

Это оказалось недалеко; он добрался туда вскоре после того, как на улицах включили освещение. У ворот в маленькой будке сидела дежурная и читала. Ему пришлось довольно долго стучать в открытую дверь, пока она не оторвалась наконец от книги.

– Шевек, – представился он, поскольку, начиная разговор с незнакомым человеком, полагалось сперва назвать свое имя, как бы вручая ему необходимый инструмент для дальнейшего общения. Собственно, более никаких «инструментов» и вручить было нельзя. Никаких документов у одонийцев не существовало, никаких рангов и научных степеней, никаких соответственных форм вежливого обращения.

– Кокван, – откликнулась дежурная. – Разве вы не вчера должны были приехать?

– Изменили расписание грузовых дирижаблей. Мне найдется местечко?

– Номер сорок шесть пустует. Это через двор и налево. Там для вас записка от Сабула. Он просил позвонить ему утром в административный отдел физического факультета.

– Спасибо! – сказал Шевек и быстро пошел через просторный асфальтированный двор, помахивая своим багажом – зимней курткой и запасными ботинками.

Во всех комнатах, окна которых выходили во двор, горел свет. В вечерней тишине слышался негромкий гул – повсюду были люди. Что-то живое чудилось Шевеку в ясном пронзительно-холодном воздухе ночного города – не то надвигающаяся беда, не то какое-то обещание.

Время обеда еще не кончилось, и он быстренько забежал в институтскую столовую узнать, не осталось ли там чего-нибудь перекусить. Имя его, как оказалось, уже было внесено в списки постоянных посетителей. Еда была просто отменной! Имелся даже десерт – салат из консервированных фруктов. Шевек очень любил сладкое, а обедал он к тому же одним из последних, так что, не испытывая угрызений совести, взял себе вторую тарелку фруктового салата – его там оставалось еще немало. Он ел один за маленьким столиком. За столами побольше сидели группами молодые люди и о чем-то беседовали над пустыми уже тарелками; он услышал обрывки какой-то дискуссии о поведении аргона при сверхнизких температурах, а также о поведении преподавателя химии во время коллоквиума и еще – о предполагаемой «кривизне времени». Один-два человека обернулись в его сторону, но не заговорили с ним, как это обычно бывает в маленьких коммунах, когда появляется незнакомый человек; смотрели они, правда, довольно дружелюбно, хотя, может быть, чуточку свысока.

Шевек отыскал комнату номер сорок шесть в длинном коридоре, куда выходило множество других закрытых дверей. Все это явно были отдельные комнаты, и он удивился, почему регистраторша послала его именно сюда. С двух лет он спал в общих спальнях, где было от четырех до десяти кроватей. Шевек постучался. Тишина. Он открыл дверь. Комната была на одного человека. Внутрь проникал неяркий свет из коридора. Шевек включил лампу. Два кресла, письменный стол, на нем выдавшая виды логарифмическая линейка, несколько книг, кушетка, заменявшая кровать, и на ней ручной вязки оранжевое одеяло. Здесь явно жил кто-то другой! Дежурная просто ошиблась. Шевек вышел и закрыл за собой дверь. Потом снова открыл ее и вошел, чтобы выключить в комнате свет. Только тут он заметил на письменном столе, под лампой, записку, нацарапанную на клочке бумаги:

Шевек! Позвоните утром в административный отдел физического факультета. Тел. 2–4–1–154. Сабул.

Он кинул куртку на кресло, ботинки – на пол и принялся читать названия на корешках книг – это оказались обычные реферативные сборники по физике и математике, в зеленых обложках, с Кругом Жизни посередине. Шевек повесил куртку в шкаф, убрал с дороги ботинки и аккуратно задернул занавеску. Потом прошел к двери: до нее было четыре шага. Постоял там нерешительно минутку, а затем – впервые в жизни! – закрыл дверь своей собственной комнаты.

* * *

Сабул оказался маленьким, коренастым, неряшливым человеком лет сорока. Растительность у него на лице была темнее и грубее, чем обычно у анаррести, и даже образовывала некое подобие бородки. На нем был толстый зимний свитер, и он, судя по всему, не снимал его с прошлой зимы: края обшлагов были черны от грязи. Манера говорить у Сабула была резкая, ворчливая – какие-то неровные куски информации, вроде тех, в его записках, оторванных от чего попало клочках бумаги. Голос его напоминал рычание.

– Тебе необходимо выучить йотик! – рявкнул он.

– Йотик? – изумился Шевек.

– Я же сказал! Язык йотик.

– Но зачем?

– Чтобы читать работы физиков с Урраса! Атро, То, Баиска – всех. Ни одна из этих работ на правик не переведена и, похоже, переведена не будет. На Анарресе человек шесть от силы способны как-то понять эти работы. На любом языке.

– Но как же я выучу йотик?

– С помощью учебника и словаря, естественно!

– А где мне их взять? – не сдавался Шевек.

– Здесь! – рявкнул Сабул. Он порылся на полках, заваленных маленькими книжками в зеленых обложках. Движения у него были резкие, словно он на кого-то сердился. Наконец он нашел то, что искал, – два толстых тома без обложек на самой нижней полке стеллажа – и с грохотом швырнул на стол. – Скажешь, когда почувствуешь, что можешь уже читать Атро. А пока что мне с тобой делать нечего.

– Какими типами уравнений обычно пользуются уррасти?

– Да ерунда. Сам во всем разберешься.

– Здесь кто-нибудь занимается хронотопологией?

– Да, Турет. Можешь у него консультироваться. Но на лекции к нему не ходи: пустая трата времени.

– Я собирался ходить на лекции к Граваб.

– Зачем?

– Ее работы по частоте и цикличности...

Сабул не дал ему договорить; он сперва сел, потом снова вскочил. Он был все-таки невыносимо суетлив и одновременно будто скован. И вот-вот готов вспыхнуть – не человек, а растопка для очага.

– Не трать время зря! Ты далеко обогнал старуху в теории непрерывности, а прочие ее «плодотворные» идеи – сущий мусор.

– Меня интересуют принцип одновременности...

– Какой там еще «одновременности»! Что за спекулятивной чушью кормила тебя Митис? – Глаза физика метали молнии, под жесткими короткими волосами на лбу вздулись вены.

– Я сам организовал семинар по этой теме...

– А, ну-ну! Давай расти! Тебе пора расти. Тем более теперь ты здесь, в Аббенае, в Центральном институте. Только учти: мы здесь занимаемся физикой, а не религией. Отбрось в сторону свой мистицизм и поскорее вырастай. Как быстро ты сможешь выучить йотик?

– Мне понадобилось несколько лет, чтобы как следует выучить правик, – заметил Шевек. Однако его мягкая ирония осталась Сабулом совершенно незамеченной.

– Я выучил йотик за десять декад. Причем достаточно прилично, чтобы прочесть «Введение» То. Ах да! Черт возьми, тебе же нужен какой-нибудь текст для работы! Вот, этот вполне

сойдет. На. Погоди-ка. – Он порылся в переполненном ящике стола и извлек оттуда книгу весьма, надо сказать, занятного вида: в синем переплете и без Круга Жизни на обложке. Название ее было напечатано золотыми буквами: «Poilea Afioite», что ровным счетом ничего Шевеку не сказало. Да и сами очертания некоторых букв показались ему незнакомыми.

Шевек долго смотрел на эти слова, потом взял книжку у Сабула, но не открыл ее, а с благоговением держал в руках: это было то самое, что он давно хотел увидеть, некий инопланетный «артефакт», послание из другого мира.

Он вспомнил, как в детстве Палат показывал ему книгу, состоящую «из одних цифр».

– Придешь, когда будешь в состоянии прочесть это, – буркнул Сабул.

Шевек повернулся, чтобы уйти, но рычание позади него стало громче:

– Держи эти книжки при себе! Их не всякий сможет переварить.

Шевек сперва так и застыл, потом вернулся к столу и сказал, немного подумав, в обычной своей спокойной и чуть отстраненной манере:

– Я что-то вас не понимаю.

– Не позволяй больше никому читать их! Понял?

Шевек не ответил.

Сабул снова нервно вскочил и подошел к Шевеку вплотную:

– Послушай. Теперь ты член Центрального института естественных наук, член Физического синдиката, работаешь со мной, Сабулом. Ясно? А подобные привилегии требуют дополнительной ответственности. Я прав?

– То есть я должен чему-то научиться, но не могу ни с кем делиться теми знаниями, которые получу, – сформулировал Шевек после короткой заминки. Тон был утвердительный – он словно цитировал логическую установку.

– Ну а если бы ты нашел на улице пакет с капсулами, начиненными взрывчаткой, ты бы «поделился» ими с каждым мальчишкой? Эти книги – вроде взрывчатки. Ну теперь понял?

– Да, отчасти.

– Это хорошо. – Сабул отвернулся, что-то все еще ворча, впрочем, видимо, скорее по привычке.

Шевек пошел прочь, осторожно неся «взрывчатку» под мышкой и испытывая одновременно отвращение и всепоглощающее любопытство.

И тут же сел за работу: принялся изучать язык йотик в полном одиночестве в своей комнате номер сорок шесть, отчасти соблюдая требования Сабула, отчасти потому, что привык работать в одиночку и для него это было естественно.

Поскольку Шевек был еще очень молод, он полагал, что в каком-то смысле не похож на всех остальных, кого знает. Для ребенка осознание собственного отличия от остальных всегда болезненно, поскольку, еще не успев ничего совершить, ребенок не может этого отличия оправдать. Надежное и любовное отношение взрослых и их присутствие рядом – а ведь взрослые тоже, по-своему конечно, являются отличными от остальных – служат для ребенка единственным утешением в такой ситуации; у Шевека такого человека рядом не было. Отец его, Палат, был человеком очень хорошим, надежным и очень его любил. Что бы ни натворил Шевек, Палат всегда находил для него оправдание, всегда был на его стороне, был ему верен. Однако сам Палат был таким же, как все; он не обладал этим проклятым «отличием от других»; для него жизнь в коммуне была легка и проста. Он любил Шевека, однако не мог показать ему, какова она, истинная свобода, не мог объяснить, что лишь признание за каждым права на одиночество дает возможность ощутить эту свободу.

А потому Шевек пользовался преимуществами одиночества, отдыхая от привычной сплоченной жизни маленькой коммуны и даже – от общения с теми немногочисленными друзьями, что у него там были. Здесь, в Аббенае, у него друзей не было, а поскольку ему не приходилось существовать в условиях общей спальни, он друзей и не заводил, слишком хорошо

сознавая – даже в возрасте двадцати лет – собственную неординарность и одаренность, которые всё усиливались; он был как бы обречен на одиночество, да и сам не слишком стремился к общению, и сокурсники, чувствуя его самобытность и обособленность, нечасто пытались сблизиться с ним.

Вскоре его «личная» территория стала ему даже дорога. Он наслаждался полной независимостью от соседей по общежитию и выходил из комнаты только в столовую – позавтракать и пообедать – и иногда днем, чтобы быстрым шагом прогуляться по городу и немного размять мышцы, привыкшие к значительно большим физическим нагрузкам; затем он снова возвращался в комнату номер сорок шесть, к грамматике языка йотик. Примерно один раз в декаду он, как и все, обязан был дежурить по уборке помещения, однако те, с кем он вместе работал, оказывались практически все ему незнакомы, так что эти дни не вносили особого психологического разлада в его стойкое одиночество и в успешное изучение языка йотик.

Сама по себе грамматика этого языка, сложная, нелогичная и изысканная, доставляла ему, пожалуй, даже удовольствие. Он быстро делал успехи, особенно после того как составил для себя некий глоссарий для чтения физико-математических текстов. Он знал, что ему нужно, и хорошо разбирался в терминологии, связанной с этой областью науки, а если встречался с затруднениями, то собственная интуиция или сами математические уравнения помогали ему отыскать верный путь, который, однако, не всегда приводил его в «знакомую местность». Серьезнейший труд То – «Введение в физику времени» – отнюдь не был учебником для начинающих. К тому времени, когда Шевек после долгих усилий добрался наконец до середины книги, он читал уже не столько на языке йотик, сколько на языке физики; и он понимал теперь, почему Сабул для начала заставил его читать работы физиков Урраса. Многие из этих ученых далеко опередили все достижения научной мысли Анарреса. Самые блестящие догадки, высказанные в работах Сабула о принципе неопределенности, на самом деле являлись неосознанным, видимо, переложением чужих идей ученых йоти.

Шевек с головой погружался и в другие книги, которые скупно и не спеша выдавал ему Сабул, – основные работы современных физиков Урраса. Он совсем замкнулся, стал практически отшельником, не появляясь даже на собраниях Студенческого синдиката; не ходил он и на собрания других синдикатов и федераций, за исключением довольно вялых семинаров, которые проводила Федерация физиков. Собрания подобных объединений, служившие средством общения друг с другом, были как бы внешней поведенческой рамкой в любом маленьком поселении для любого индивида. Но здесь, в большом городе, все это казалось значительно менее важным. Один человек здесь вообще практически не был замечен; всегда находились другие, готовые проявить активность, что-то организовать, и справлялись с этим достаточно хорошо. Итак, помимо обязательных дежурств по уборке общежития и лабораторий, остальное время было в его полном распоряжении. Шевек часто пропускал даже занятия физкультурой, обед или завтрак, хотя никогда – тот единственный курс лекций по частоте и цикличности, который читала Граваб.

Граваб была уже стара и частенько отвлекалась, улетала мыслью куда-то в сторону. На ее лекции ходили всего несколько человек, да и то с пропусками, как бы по очереди. Она вскоре выделила среди остальных худого юношу с большими ушами, который был единственным ее постоянным слушателем. И стала читать свои лекции, обращаясь исключительно к нему. Светлые, доброжелательные, умные глаза встречали ее взгляд, успокаивали, пробуждали мысль; она вспыхивала, вдохновляясь, и начинала читать – блестяще, вновь обретая утраченную было живость ума. Она парила слишком высоко над обыденностью мышления, и остальные студенты порой даже поднимали голову и смотрели вверх, смущенные, озадаченные, даже немного испуганные таким полетом мысли, – те, разумеется, у кого хватало ума удивляться этому. Граваб видела из своего высока куда более широкие горизонты, и те, кого она брала с собой, лишь жмурились от страха, но тот светлоглазый юноша спокойно наблюдал за нею, и в лице его она

читала ту же радость творчества, что переполняла и ее душу. То, что она упорно предлагала другим, чем хотела с ними поделиться в течение всей своей жизни, то, что никогда и никто так у нее и не принял, принял он, и не только принял, но и понял и разделил. Он был ее братом, несмотря на возрастную пропасть в пятьдесят лет. И ее спасением.

Когда они порой встречались в административном отделе факультета или в столовой, то и тут умудрялись говорить только о физике. Если же Граваб уставала и у нее попросту не хватало энергии на подобные беседы, тогда им практически нечего было сказать друг другу, ибо эта старая женщина была столь же застенчива, как и ее юный ученик.

– Вы мало едите, – говорила она ему в таких случаях.

А он только молча улыбался, и уши у него краснели. И оба не знали, что говорить дальше.

Через полгода после приезда Шевек передал Сабулу небольшую работу, озаглавленную: «Критика гипотезы Атро о непрерывности». Сабул вернул ему ее через десять дней и проворчал:

– Переведи это на йотик.

– Но я ее на йотик и писал! – удивился Шевек. – Я ведь пользовался терминологией Атро. Хорошо, я перепису более аккуратно. Но для чего?

– Как для чего? Да для того, чтобы этот проклятый собственник ее прочитал! Через декаду, пятого числа, улетает корабль.

– Корабль? На Уррас?

– Ну да! Рейсовый грузовик. Чего удивительного?

Таким образом, Шевек узнал, что планеты-близнецы обмениваются не только нефтью и ртутью и не только книгами, вроде тех, которые он в настоящее время читает, но и – и это было потрясающе! – письмами. Письмами! Писать письма «проклятым собственникам»! Подданным государства, основанного на неравенстве! Индивидуалистам! Эксплуататорам! Поддерживающим мощь государственного аппарата и, в свою очередь, эксплуатируемым этим аппаратом! Неужели «собственники» с Урраса действительно способны обмениваться идеями со свободным народом Анарреса? И при этом не проявляют ни малейшей агрессивности, но делают это по собственной воле, свободно, на равных? Это что же, интеллектуальная солидарность? Или они просто пытаются доказать свое превосходство и в этой области? Самоутвердиться, прибрать к рукам чужие идеи? Сама мысль о возможности такого обмена письмами будила в душе Шевека тревогу, и все же интересно было бы выяснить?..

На него уже успело обрушиться столько подобных «открытий», что он вынужден был признаться в собственной – поразительной, непростительной! – наивности: умному и образованному юноше, каким был Шевек, не так-то легко было это сделать.

Первым и по-прежнему самым приятным было то, что занятия столь необходимым ему языком йотик следовало скрывать; это была настолько новая для него ситуация и настолько отвратительная с моральной точки зрения, что он еще не совсем смирился с нею. Совершенно очевидно, он никому непосредственно зла не причинял, не разделял собственные знания с другими. Кроме того, они ведь тоже могли выучить йотик. Да и что плохого, если кто-то узнает о его занятиях языком Урраса? Он был уверен: свобода – скорее в открытости, чем в скрытности; и потом, ради истинной свободы всегда стоит рискнуть. Вот только в чем он, этот риск? Однажды ему показалось, что Сабул просто не хочет, чтобы новые представления о законах физики получили распространение на Анарресе, желая сохранить эти знания для себя одного, владеть ими как собственностью, пользоваться ими как источником власти над своими же коллегам! Однако эта мысль была настолько шокирующей, настолько противоречила привычному мышлению, что Шевек с невероятным трудом подавил ее, удивительно настойчиво пробивавшую путь в его душе, и с презрением отбросил как абсолютно неприемлемую.

Затем еще эта отдельная комната. У него никогда в жизни не было отдельной комнаты. То, что это оказалось действительно удобно, моральной зацепкой, колючкой постоянно сидело

в мозгу. Когда Шевек был ребенком, то знал: если кого-то кладут спать в отдельную комнату, это означает наказание за то, что провинившийся беспокоит всех остальных настолько, что его соседи по спальне не желают больше терпеть; то есть данный ребенок, безусловно, считался последним эгоистом. Одиночество было практически равносильно позору. Взрослые просили отдельную комнату, главным образом когда хотели заняться сексом. В каждом общежитии имелось определенное количество таких отдельных комнат, которые парочка могла занять на одну ночь или на декаду – в общем, так долго, как им того хотелось. Партнеры, то есть мужчина и женщина, жившие одной семьей, обычно занимали сдвоенные комнаты; в маленьких городках, где сдвоенных комнат не хватало, такие пары часто пристраивали еще одну комнату к крайней комнате в общежитии, и в итоге возникали длинные низкие, странной конфигурации – точно растянутые – строения, которые как бы расплзались во все стороны, точно растения. Их насмешливо называли «семейно-товарными поездами». Считалось, что во всех иных случаях спать в общей спальне – самая обычная и естественная вещь. Можно было выбрать маленькую или большую комнату, а если тебе не нравились соседи, разрешалось перебраться в любую другую. Мастерские, лаборатории, студии, склады, служебные помещения – все это было общим. Можно было, конечно, уединиться, но в основном приходилось быть постоянно на людях, даже в купальнях. Уединение для занятий сексом было не только нормально и позволено всем, но и с большим пониманием воспринималось обществом; во всех остальных случаях уединение считалось просто нефункциональным. Излишним, бессмысленным. Экономика Анарреса не в состоянии была осуществлять строительство, содержание, отопление, освещение индивидуальных домов и квартир. Люди, по природе своей асоциальные, вынуждены были сами удаляться от общества и сами заботились о себе. Никто им в этом не препятствовал. Такой человек мог построить себе дом где хотел (хотя, если этот дом портил красивый вид или занимал участок плодородной земли, человеку под тяжким давлением соседей приходилось перебираться в другое место). Было, в общем, немало таких одиночек и отшельников – особенно на окраинах наиболее старых коммун Анарреса, – которые очень гордились тем, что не принадлежат якобы к виду «социальных существ». Однако, согласно мировоззрению тех, кто принимал привилегии и обязательства общества солидарности, уединение обладало определенной ценностью только тогда, когда было функционально.

Поэтому первыми реакциями Шевека на предоставление ему отдельной комнаты были возмущение и стыд. С какой стати его сюда засунули? Но вскоре он понял это и переменял свои взгляды. Именно отдельная комната как нельзя лучше подходила для той работы, которой он сейчас был поглощен. Если ему в полночь приходила в голову какая-то мысль, он мог включить свет и записать ее; если мысли являлись на рассвете, он мог продолжать развивать их все утро, и ему не мешали болтовня и шум соседей по комнате, занимающихся утренним туалетом. Если же голова просто не работала и приходилось целыми днями просиживать за письменным столом, тупо глядя в окно, никто у него за спиной не высказывал вслух удивления по поводу того, что он бездельничает. В итоге Шевек пришел к выводу, что уединение для занятий физикой и математикой столь же желательно, как и для занятий сексом. И все-таки – неужели подобное одиночество столь уж необходимо?

Еще одним «испытанием» оказался десерт. В институтской столовой на обед всегда было что-то сладкое, и Шевеку это ужасно нравилось. Если можно было взять добавку, он всегда брал. Однако его «органически-общественное» сознание страдало при этом, точно желудок от переедания. Разве у всех, разве в каждой столовой планеты – особенно в отдаленных районах – такая же еда? Раньше его всегда убеждали, что это именно так, и он сам не раз мог убедиться в этом. Разумеется, местные отличия существовали, где-то чего-то не хватало, где-то наоборот; кроме того, могли возникнуть разные непредвиденные ситуации, как, например, не раз бывало в лагере, где жили сотрудники Проекта озеленения. В столовой мог быть плохой повар или очень хороший – в общем, могли, конечно, быть всякие случайности, но в рамках

единой, не меняющейся системы. Однако ни один повар, даже самый талантливый, не смог бы приготовить десерт без наличия соответствующих продуктов. В большей части столовых Анарреса десерт подавали раз или два в декаду. Здесь же десерт был каждый день. Почему? Неужели преподаватели и студенты Центрального института естественных наук лучше, чем все остальные люди?

Шевек никому этих вопросов не задавал. Общественное сознание, мнение других – это была мощнейшая моральная сила, определявшая поведение большей части одонийцев, однако на Шевека она действовала, может быть, чуть меньше, чем на других. А потому многие мучившие его проблемы были такого свойства, что оказывались иным людям просто недоступны. И он привык решать их сам, молча, про себя. Так он поступил и сейчас, хотя моральные проблемы, с которыми он столкнулся, оказались для него в некотором роде куда более сложными, чем проблемы физики времени. Он ничего не спросил у других. Он просто перестал брать в столовой десерт.

Однако в общую спальню не переехал. Он положил на весы моральный дискомфорт и практические преимущества своего одиночества и обнаружил, что последние значительно перевешивают. Ему гораздо лучше работалось в отдельной комнате. Эту работу стоило делать хорошо, она у него вроде бы спорилась. Значит, условия выполнения этой работы можно воспринимать как функциональные. Подобные соображения в его обществе считались весьма важными. Ответственность оправдывала привилегии.

И он увлеченно работал.

Он похудел. Ходил, почти не чувствуя собственного веса. Отсутствие физических нагрузок, постоянное сидение за столом, пренебрежение к сексу – все это казалось ему несущественным. Важна была только свобода – мыслей и действий. Он был свободен; он мог делать, что хотел и когда хотел. И как угодно долго. Так он и поступал. Работал. Работал, словно играл.

Он набрасывал заметки для целой серии гипотез, подводивших к созданию вполне связной теории одновременности. Однако вскоре эти идеи стали казаться ему детской забавой – он видел перед собой куда более высокую вершину: общую теорию времени. И намерен был этой вершины достигнуть, если, конечно, ему это удастся. Порой Шевек испытывал нечто вроде приступов клаустрофобии: ему казалось, что он заперт в небольшом помещении, находящемся посреди обширного открытого пространства. Ах, если б он только сумел найти выход! Ясно увидеть, какую именно потайную дверцу нужно открыть! Развитие собственной интуиции стало навязчивой идеей. Всю осень и зиму он старался спать все меньше и меньше. Часа два ночью и часа два днем – этого ему вполне хватало; и эти короткие периоды сна были совсем не похожи на то, как он спал раньше – крепко, без сновидений; теперь он и во сне тоже как бы бодрствовал, только на каком-то ином уровне, ибо непрерывно видел сны, живые, исполненные смысла, являвшиеся как бы частью его работы. В этих снах он видел, как время поворачивает вспять, как река начинает подниматься по руслу впадающего в нее ручья. Он держал два одномоментных мгновения в левой и правой руке и с улыбкой разводил руки, разделяя эти мгновения, точно один большой мыльный пузырь – на два. Он вскакивал с постели и начинал судорожно записывать, не успев еще как следует проснуться, те математические формулы, которые много дней не давались ему, ускользали, таяли во тьме. Он видел, как пространство сжимается вокруг него, словно некая сфера, рушащаяся внутрь и заполняющая собой царящую в ее центре пустоту; сфера смыкалась, смыкалась, ему уже нечем было дышать, и он просыпался с криком «Помогите!», и тут же заставлял себя замолчать и пытался – в молчании и одиночестве – спастись от понимания собственной своей вечной пустоты...

В холодный полдень, где-то под конец зимы он, направляясь домой из библиотеки, зашел в административный отдел физического факультета, чтобы посмотреть, нет ли для него писем. Собственно, никаких причин ожидать письма у него не было: он ни разу не написал никому из друзей, оставшихся в Северном Поселении; однако уже дня два у него было отвратительно на

душе: он сам уничтожил некоторые из своих наиболее красивых гипотез и тем самым вернул себя в исходную точку – после полугода тяжелейшей работы! Да и чувствовал он себя отчего-то неважно. Общие принципы теории казались ему теперь настолько неясными, что вряд ли могли быть кому-то полезны. И почему-то ужасно болело горло. И очень хотелось, чтобы в почтовом ящике оказалось письмо от какого-нибудь хорошего человека. Или хотя бы кто-то из здешних его знакомых просто сказал: «Привет, Шев!» Но в административном отделе никого не оказалось, кроме Сабула.

– Вот, Шевек, взгляни-ка.

Он взял в руки книгу, которую протягивал ему Сабул: тоненькая книжонка в зеленом переплете с Кругом Жизни на обложке. Он открыл ее и увидел на титульном листе название: «Критика гипотезы Атро о непрерывности». Это была его собственная работа. А в предисловии к ней Атро высказывал ему свою признательность и приводил некоторые серьезные аргументы в защиту своей теории. И все это было переведено на правик и отпечатано в типографии Координационного совета. Вот только авторов оказалось двое: Сабул и Шевек.

Сабул, вытянув шею, смотрел, как Шевек листает книжку; он буквально пожирал ее глазами, в глазах светилась тайная радость, даже его обычное ворчание стало глуше и напоминало приглушенный смех.

– Добили мы этого Атро! У-у, собственник проклятый! Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует выкнуть о «детских погрешностях»! – Сабул десять лет лелеял свою ненависть к журналу «Вопросы физики», издаваемому Университетом Йе Юн, который охарактеризовал его теоретические труды как «серый провинциализм, страдающий детскими погрешностями и определенным догматизмом, которым, как известно, страдает мышление одонийцев». – Вот теперь они увидели, кто из нас провинциал! – Сабул самодовольно ухмыльнулся. Они были знакомы почти год, однако Шевек не мог припомнить, когда еще видел Сабула улыбающимся.

Шевек уселся на противоположном конце комнаты, для чего ему пришлось убрать с дивана целую кипу каких-то бумаг; разумеется, помещение канцелярии принадлежало всем, однако Сабул самовольно захватил эту дальнюю комнату из двух имевшихся и завалил ее своими материалами и книгами, так что здесь, похоже, никогда никто и не пытался пристроиться. Шевек снова посмотрел на книгу, которую держал в руках, потом выглянул в окно. Он чувствовал себя совершенно больным, разбитым, да и выглядел, надо сказать, неважно. Какое-то неприятное напряжение не оставляло его, хотя с Сабулом он никогда прежде не испытывал ни стеснения, ни неловкости, как это часто случалось с ним в присутствии тех людей, с которыми он давно хотел познакомиться.

– Я и не знал, что вы ее перевели, – сказал он.

– Да, перевел, отредактировал особенно неудачные куски, вставил кое-какие связующие звенья, отполировал и издал. Дней двадцать работы. Ты вполне можешь гордиться этой книжкой: твои идеи вполне могут вылиться в самостоятельную книгу.

Ну, допустим, и в этой-то книжке идей самого Сабула не было ни одной. Она состояла исключительно из самостоятельных идей Шевека и опровергаемых им гипотез Атро.

– Да, конечно, – сказал Шевек. – А еще я бы хотел опубликовать свою последнюю работу, о реверсивности. Ее тоже следовало бы послать Атро. Она была бы ему интересна, а то он как-то застрял на необратимости времени, а причин его реверсивности не видит.

– Опубликовать? Где это?

– Ну, она была бы написана на языке йотик... так что... опубликовать ее можно было бы на Урресе. Например, послать ее Атро, чтобы он поместил ее в один из журналов...

– Ты не имеешь права публиковать там работы, которые не были до того опубликованы здесь.

– Но ведь с этой-то мы как раз так и поступили! Она почти целиком была впервые опубликована в журнале Университета Йе Юн.

– Я не сумел этому помешать, но почему, по-твоему, я так спешил сдать ее в типографию? Ведь не думаешь же ты, что в КСПР все в восторге от нашей научной переписки с Уррасом? Синдикат охраны требует, чтобы буквально каждое слово в письмах, посылаемых отсюда на космических грузовиках, было одобрено экспертами Совета. И неужели ты не понимаешь, как провинциальные физики, для которых подобная возможность общения с Уррасом вообще недостижима, относятся к тому, что мы этой возможностью пользуемся? Неужели ты думаешь, что они нам не завидуют? Да некоторые из них только и ждут, когда мы сделаем хоть один неверный шаг! И если им когда-нибудь удастся поймать нас на чем-либо недозволенном, мы навсегда лишимся возможности подобной переписки. Теперь тебе все ясно?

– Не все. Как, например, институту удалось получить разрешение на подобную переписку?

– Благодаря тому, что в КСПР десять лет назад был избран наш преподаватель Пегвур. – (Шевек знал, что Пегвур – физик весьма средней руки.) – И с тех пор я действую исключительно аккуратно, дабы сохранить этот канал, понял?

Шевек кивнул.

– Кроме того, Атро и не подумает читать твою бредовую работенку. Я просмотрел ее и вернул тебе еще несколько декад назад. Не понимаю, когда ты перестанешь зря тратить время на те мистические теории, которым так привержена Граваб? Неужели не ясно, что старуха зря потратила на них свою жизнь? Если будешь продолжать в том же духе, тоже останешься в дураках. Что, разумеется, является твоим неотъемлемым правом. Однако меня ты в дураках не оставишь.

– А что, если я предложу эту работу для публикации здесь?

– Пустая трата времени.

Шевек проглотил и это, спокойно, согласно кивнул и встал. Все еще чуть угловатый, он топтался на месте, глубоко о чем-то задумавшись. Зимний свет резко высвечивал его осунувшееся лицо и светлые волосы, которые он теперь заплетал сзади в косичку. Потом он подошел к письменному столу и взял из небольшой стопки новеньких книжечек одну.

– Я бы хотел послать ее Митис, – сказал он.

– Бери сколько хочешь... Послушай, Шевек, если, по-твоему, ты лучше знаешь, что именно следует делать, то передай свою работу прямо в отдел публикаций. Ведь моего разрешения тебе не требуется. У нас тут никакой иерархии нет. И я не стану тебе мешать. Я могу только давать советы.

– Но ведь это вы – главный консультант Синдиката публикаций по разделу физики, – сказал Шевек. – Мне казалось, мы все сэкономим время, если я спрошу вас насчет публикации прямо.

Он говорил спокойно и явно искренне, его невозможно было укротить, хотя бы потому, что он совершенно не стремился к превосходству.

– Сэкономим время? Что ты хочешь этим сказать? – Сабул был раздражен, однако и он все-таки тоже был одонийцем: он поморщился, словно ему противно было собственное лицемерие, и отвернулся от Шевека. Потом вдруг снова обернулся к нему и сказал язвительно и гневно: – Давай! Иди и отдай им эту чертову работу! Я скажу, что недостаточно компетентен, чтобы судить о ней, и предложу им проконсультироваться у Граваб. Она у нас известный специалист по принципам одновременности! Занимается всякой мистической чепухой! Вселенная, видите ли, вибрирует, как огромная струна арфы! И какая же, интересно, нота звучит на этой струне? Пассажи из «Гармонии чисел», я полагаю?.. В общем, я не в состоянии или, иными словами, не желаю советовать что-либо КСПР или его отделу публикаций по поводу ваших интеллектуальных «экскрементов»!

– Та работа, которую я написал сейчас для вас, – заметил Шевек, – является частью моего исследования, которое основано на идеях, высказанных Граваб. Если вы хотите получить

это исследование целиком, вам придется мириться с определенной частью моих и ее гипотез. Зерно лучше всего прорастает, если землю удобрить навозом, – так говорят у нас, в Северном Поселении.

Он еще минутку постоял, но, не дождавшись ответа, попрощался и вышел.

Он понимал, что выиграл это сражение, причем выиграл легко, без нажима. Почти без нажима. Кое в чем он все-таки нажал на Сабула.

Как и предсказывала Митис, ему пришлось «стать человеком Сабула». Сабул уже давно перестал быть самостоятельно работающим, генерирующим собственные идеи ученым; его теперешняя высокая репутация покоилась на наличии у него власти и на экспроприации чужих идей. Вот теперь и Шевек обязан был рождать идеи, а слава доставалась Сабулу, авторитет которого все рос.

Это была совершенно нетерпимая с точки зрения этических норм ситуация, и Шевек должен был бы сразу с презрением отвергнуть предложение Сабула. Но не отверг. Сабул был ему необходим – чтобы иметь возможность опубликовать выстраданное и послать тем, кто способен понять его идеи, физикам с Урраса. Шевеку как воздух необходимы были их критика и сотрудничество.

Так что они заключили сделку – он и Сабул, – настоящую сделку, вполне спекулянтскую. И никакое это было не сражение, а обыкновенная купля-продажа. Ты – мне, а я – тебе. Если ты мне откажешь, я тебе тоже откажу. Договорились? Продано!.. Карьера Шевека, как и существование всего их общества, зависела от продолжения этого основополагающего, хотя и не признанного гласно, взаимовыгодного контракта. Нет, здесь все строилось не на взаимопомощи и солидарности, а на взаимной эксплуатации; на отношениях не органических, но механических. Разве можно верно построить уравнение с исходно неверными данными?

– Но я хочу довести эту работу до конца! – уговаривал себя Шевек, бредя по дорожке к общежитию. День был серый, ветреный. – Это мой долг, моя радость! В этом смысл всей моей жизни. Человек, с которым я вынужден работать, – мой соперник, желающий превосходства надо мной и над всеми остальными, спекулирующий своим положением, своей властью, но я этого пока что изменить не могу. Если я хочу вообще продолжать работать, мне придется работать с этим человеком.

Он вспомнил о Митис и ее предостережениях, о Региональном институте, о той вечеринке перед отъездом из Северного Поселения. Как давно и далеко все это было! В каких мирных и надежно-спокойных краях! Он чуть не заплакал от ностальгии. Проходя под портиком главного здания института, он заметил, что на него искоса глянула шедшая мимо девушка, и ему показалось, что она похожа на ту его знакомую – как же ее звали? – ту самую, с короткой стрижкой, – которая еще без конца жевала жареные пирожки на прощальной вечеринке? Он остановился, обернулся, но девушка уже исчезла за углом. Впрочем, он, наверное, ошибся: у этой волосы были длинные. Ушла. Все, все ушло! Шевек вышел из-под прикрывавшего его портика. Ветер пронизывал насквозь. Моросил мелкий дождь. Дождь здесь всегда в лучшем случае моросил, если вообще шел. Ужасно сухая планета! Сухая, бледная, недружелюбная. «Недружелюбная!» Шевек произнес это вслух на языке йотик. Язык звучал очень странно. Дождь сек лицо, точно мелкие камешки. Это был недружелюбный дождь. Горло жутко болело, а теперь еще и голова просто раскалывалась. Он только сейчас начал догадываться, что, скорее всего, болен. Добравшись до комнаты номер сорок шесть, он прилег на постель, и ему показалось, что она значительно ниже, чем обычно, и по полу страшно дует. Его знобило, прямо-таки трясло, и он никак не мог унять дрожь. Он натянул оранжевое одеяло на голову, свернулся в клубок и попытался уснуть, но дрожь не перестал: ему казалось, что со всех сторон его обстреливают атомными снарядами, причем атака становилась все более ожесточенной по мере того, как повышалась температура.

Он никогда ничем не болел и не знал никаких физиологических страданий, кроме усталости. Не имея ни малейшего понятия, каково это, когда у тебя сильный жар, он решил, что сходит с ума. Страх перед наступающим безумием заставил его все же обратиться за помощью. Утром, хотя Шевек так и не решился постучать к соседям по коридору, поскольку уже начал бредить, он с огромным трудом дотащился до местной больницы, находившейся в восьми кварталах от общежития. Холодные, залитые солнечным светом улицы медленно покачивались и вращались вокруг него. В больнице его «безумие» назвали относительно легкой формой пневмонии и велели ему идти в палату номер два и лечь в постель. Он запротестовал. Медсестра назвала его эгоистом и объяснила, что тогда врачу придется без конца посещать его на дому, поскольку заболевание достаточно серьезное. Шевек смирился, пошел в палату номер два и лег. Все его соседи были стариками. Медсестра принесла ему стакан воды и какую-то таблетку.

– Что это? – спросил Шевек с подозрением. Зубы у него снова стучали от озноба.

– Жаропонижающее.

– А что это такое?

– Лекарство, от которого температура спадает.

– Мне это не требуется.

– Как хочешь, – пожала плечами сестра и вышла.

Среди молодых анаррести было весьма распространено мнение, что быть больным стыдно; надо сказать, это был один из результатов весьма успешной профилактики различных заболеваний на их суровой планете, а также, возможно, некоторой путаницы, возникавшей в юных умах из-за смешения понятий «здоровый/больной» и «сильный/слабый». Они чувствовали, что болезнь – это что-то сродни позорному проступку, пусть и непреднамеренному. Поддаться ей, проявить преступное слабование и начать принимать, например, болеутоляющее было, с их точки зрения, чуть ли не аморально. Молодежь насмерть стояла против всяких таблеток и уколов. В среднем возрасте, а тем более в старости большая часть этих героев меняла точку зрения. Боль порой становилась непереносимой стыда. Медсестра раздавала старикам в палате лекарства, они шутили с нею, а Шевек наблюдал за всем этим с тупым непониманием.

Позднее появился врач с готовым для инъекции шприцем.

– Я не хочу, – заявил Шевек.

– Не будь эгоистом, – возразил врач, – нечего тут к себе всеобщее внимание привлекать!

А ну-ка повернись на живот.

Шевек подчинился.

Еще чуть позже сиделка принесла ему напиток, но его так била дрожь, что большая часть воды пролилась на одеяло.

– Оставьте меня в покое, – внятно сказал он. – Кто вы такая?

Женщина сказала, но он не разобрал. И сказал, чтобы она уходила, что он чувствует себя прекрасно, а потом принялся объяснять ей, что гипотеза цикличности времени, хотя сама по себе непродуктивная, является основой его будущей теории одновременности, ее краеугольным камнем. Он говорил то на правик, то на йотик и быстро писал формулы и уравнения в воздухе – ему казалось, что мелом на грифельной доске, – чтобы она и остальные члены семинарской группы как следует его поняли. Особенно его почему-то волновало, что они не совсем правильно поймут высказывание насчет краеугольного камня.

Женщина коснулась его лица, убрала волосы назад и завязала тесемкой. Руки у нее были мягкие, прохладные. Он никогда не ощущал более приятного прикосновения. Он потянулся и хотел взять ее за руку. Но женщина уже ушла.

Проснулся он нескоро. Он мог довольно свободно дышать. Он чувствовал себя отлично. Все было в порядке! Вот только двигаться не хотелось. Казалось, что если начнешь двигаться, то нарушишь идеально стабильное равновесие, воцарившееся в мире. Зимний свет на потолке

был невыразимо прекрасен. Шевек бесконечно любовался его игрой. Старики, его соседи по палате, о чем-то беседовали и смеялись – старческими, глухими голосами, – и эти звуки тоже казались ему прекрасными. Та женщина, что уже приходила к нему, присела на краешек его кровати. Он улыбнулся ей.

– Ну, как ты себя чувствуешь?

– Точно заново родился! А вы кто?

Она тоже улыбнулась:

– Твоя мать.

– Значит, я действительно родился заново. И у меня должно быть новое тело, а это вроде бы то же самое.

– Господи, какую чушь ты несешь!

– Ничего подобного! Это здесь чушь, а на Урресе возрождение – существеннейшая часть их религиозных представлений.

– У тебя голова не болит? – Она коснулась его лба. – Температуры, кажется, нет. – Голосом своим она касалась в самой глубине души Шевека какой-то болевой точки, глубоко спрятанной ото всех, но сопротивляться он не мог, и боль проникала все глубже, глубже в душу...

Он внимательно посмотрел на женщину и сказал с ужасом:

– Значит, ты – Рулаг!

– Я ведь уже сказала. Да, я Рулаг, твоя мать.

Странно, ей удавалось сохранять на лице выражение беззаботности. Голос звучал весело. Но Шевек со своим лицом справиться не мог. И хотя сил двигаться у него не было, он весь съежился и отполз от нее подальше с нескрываемым страхом, словно она была не его матерью, а его смертью. Если Рулаг и заметила это слабое движение, то виду не подала.

Она была красива – темноволосая, с тонким, нежным, будто точеным лицом, на котором совсем не было заметно морщинок, хотя ей, наверно, было уже за сорок. Все вокруг этой женщины, казалось, пребывало в гармонии, подчиняясь ее воле. Голос у нее был грудной, мягкий.

– Я и не знала, что ты в Аббенае, – сказала она. – Я вообще ничего о тебе не знала. Просто случайно зашла в отдел публикаций – просмотреть новинки и отобрать литературу для библиотеки инженерного факультета – и увидела книгу, где авторами значились Сабул и Шевек. Сабула я, разумеется, знаю. Но кто такой Шевек? Это имя показалось мне странно знакомым, но я по крайней мере минуты две никак не могла догадаться. Ты только представь себе! Мне это казалось невозможным. Ведь тому маленькому Шевеку, которого я когда-то знала, могло быть не более двадцати – вряд ли Сабул стал бы писать совместные работы по метакосмологии с каким-то мальчишкой. Так что я пошла узнавать, и какой-то мальчик в общежитии сказал, что ты в больнице... Кстати, эта больница поразительно плохо укомплектована. Я не понимаю, почему представители синдиката не запросят еще персонал из Медицинской федерации или не сократят количество принятых на лечение больных? Некоторые из здешних сестер и врачей работают по восемь часов в день и больше! Разумеется, среди медиков встречаются люди, которые стремятся прежде всего к самопожертвованию... К сожалению, однако, это не всегда сопряжено с должной эффективностью... Странно было тебя увидеть. Я бы, видимо, так никогда и не познакомилась с тобой, если бы... Вы с Палатом поддерживаете отношения? Как он?

– Он умер.

– Да? – В голосе Рулаг не прозвучало ни притворного ужаса, ни искренней печали – только некая тоскливая привычка к этому слову, некая безжизненная пустота.

Шевеку почему-то стало вдруг жаль ее – всего на мгновение.

– Давно он умер?

– Восемь лет назад.

– Ему ведь не больше тридцати пяти тогда было.

– В Широких Долинах случилось землетрясение... Мы там уже около пяти лет жили, он работал инженером-строителем. Во время землетрясения рухнул учебный центр. Палат вместе с другими пытался вытащить из-под развалин детей. И тут произошел второй толчок... Все, кто там был, погибли. Тридцать два человека.

– Ты тоже там был?

– Нет. Я уже уехал в Региональный институт – учиться. Всего за десять дней до землетрясения.

Она помолчала; лицо ее было нежным и печальным.

– Бедный Палат. Как это похоже на него – умереть вместе с другими... Тридцать два человека!

– Их могло быть значительно больше, если бы Палат туда не полез, – сказал Шевек.

Рулаг посмотрела на него. Невозможно было определить по этому взгляду, какие чувства испытывала она сейчас. Слова, которые она затем сказала, могли случайно вырваться у нее. А может, она, напротив, долго обдумывала их – кто знает?

– Ты очень любил Палата. – Это звучало как спокойное утверждение.

Он не ответил.

– Но ты на него не похож. Зато очень похож на меня – только я темная, а ты светлый. Я думала, ты будешь похож на Палата. Я всегда так считала... Странно, насколько воображение способно заставить тебя быть в чем-то абсолютно уверенной... Значит, он тогда остался с тобой?

Шевек кивнул.

– Ему повезло. – Она не вздохнула, однако он почувствовал этот ее сдержанный вздох сожаления.

– Мне тоже.

Помолчали. Потом Рулаг слабо улыбнулась и сказала:

– Да, разумеется. Я, наверное, тоже должна была поддерживать с тобой связь... Ты на меня обижен? Ведь я никак не пыталась тебя разыскать.

– Обижен? Я тебя никогда не знал. Я тебя даже не помнил.

– Неправда. Мы с Палатом держали тебя дома, пока жили вместе, даже когда я отняла тебя от груди... Мы оба этого хотели. В первые годы жизни тесный контакт с родителями для ребенка жизненно важен; психологи это давно доказали. Полная социализация личности должна осуществляться только через несколько лет после рождения, а первые годы ребенок должен прожить с матерью и отцом... Я очень хотела, чтобы мы так и жили – все вместе... Я пыталась устроить Палату вызов в Аббенай. Но по его специальности никогда не было вакансий, а без официального вызова он приезжать ни за что не хотел. Упрямства в нем всегда хватало... Сперва он, правда, писал мне, о тебе рассказывал, потом перестал...

– Это сейчас не важно, – сказал Шевек. Его лицо, осунувшееся после болезни, было покрыто испариной, отчего лоб и щеки казались серебристыми и блестящими.

Снова возникла неловкая пауза, и Рулаг прервала ее своим приятным ровным голосом:

– Да нет, пожалуй, все-таки важно. Хорошо, что именно Палат остался с тобой, что именно он заботился о тебе в те годы, когда ты входил в общество других людей. На него всегда можно было положиться, он был хорошим отцом. А я... я плохая мать. Для меня всегда на первом месте была работа. И все же я рада, что теперь ты здесь, Шевек! Возможно, теперь я тоже смогу быть чем-то для тебя полезной. Я знаю, Аббенай сперва производит отталкивающее впечатление. Чувствуешь себя потерянным, одиноким, не хватает того внимания, с которым к тебе относятся в маленьких городках. Ничего, я знаю здесь многих интересных людей, возможно, тебе захочется с ними познакомиться. И возможно, они могут быть тебе весьма полезны. Я неплохо знаю Сабула и, скорее всего, представляю, что именно тебе в нем кажется неприемлемым. Мне известны также институтские нравы. Здесь, в Аббенае, вообще ценят собствен-

ное превосходство над другими и любят играть во многие подобные игры. Нужен некоторый опыт, чтобы понять, как можно переиграть противника. В общем, я рада твоему приезду. Ты это знай. Странно, я никогда к этому не стремилась, но мне так приятно... радостно... Между прочим, я прочла твою книгу. Это ведь твоя книга, верно? Иначе с какой стати Сабул взял в соавторы двадцатилетнего студента? Тема, правда, выше моего понимания, я ведь всего лишь инженер. Но кое-что я поняла и признаюсь: я горжусь тобой! Странно, не правда ли? Необъяснимо – ведь я не имею на это права. В моей гордости тобой даже есть нечто собственническое. Впрочем, когда становишься старше, требуются некоторые подтверждения... и они не всегда разумны. Но необходимы: чтобы просто продолжать жить.

Он видел ее одиночество. Ее боль. И отвергал все это. Это ему угрожало. Это угрожало его верности отцу, той чистой и постоянной любви к Палату, в которой коренилась и крепла его собственная жизнь. Какое она имела право, она, бросившая Палата в беде, прийти со своей бедой к его сыну! У него ничего для нее нет! Ничего он дать ей не может!

– Возможно, было бы лучше, – сказал он, – если бы ты продолжала думать обо мне как просто об одном из многих.

– Ах вот как. – Она сказала это тихо, спокойно. И отвернулась.

Старички на другом конце палаты явно любовались ею, возбужденно подталкивали друг друга.

– Полагаю, – снова заговорила она, – тебе показалось, что я предъявляю на тебя какие-то права? Это не совсем так... Но я думала, что и ты, возможно, захочешь предъявить какие-то права на меня?

Он промолчал.

– Мы с тобой, конечно, не мать и сын, разве что чисто биологически, – снова слабо улыбнулась она. – Ты не помнишь меня, а тот малыш, которого помню я, теперь стал двадцатилетним юношей. Все в прошлом, все теперь не имеет значения. Однако мы с тобой брат и сестра – здесь, сейчас; и мы можем помочь друг другу. Вот это действительно имеет смысл. Тебе так не кажется?

– Не знаю.

С минуту она посидела молча, потом встала:

– Тебе нужно отдохнуть. Ты был очень болен – я ведь и раньше приходила... А сегодня мне сказали, что ты уже скоро поправишься. Не думаю, что приду сюда еще раз.

Он по-прежнему молчал.

– До свидания, Шевек, – сказала Рулаг и сразу отвернулась, но у него успело возникнуть кошмарное ощущение того, что лицо ее меняется на глазах – ломается, распадается на куски. Наверное, это был просто плод его воображения, но, когда она встала, это была совсем другая женщина. Очень красивая, уверенная в себе. Она вышла из палаты привычной изящной походкой, и Шевек заметил, как она остановилась в коридоре и о чем-то, улыбаясь, заговорила с медсестрой.

Когда она ушла, он дал волю страху, пришедшему вместе с ней, разбудившему в нем ощущения нарушенных обещаний, несвязности, непоследовательности Времени. И он сломался. И заплакал, пытаясь спрятать лицо, закрыть его руками, потому что у него не хватало сил даже просто отвернуться. Один из соседей, старый больной человек, подошел к нему и, присев на край кровати, потрепал по плечу.

– Ничего, братец. Ничего, – шептал он.

Шевек слышал его голос, чувствовал его ласку, но утешения это ему не приносило. Даже от слова «братец» в такой плохой час не исходило тепла, слишком высокой была та стена, что его сейчас окружала.

5 Уррас

Шевек с облегчением перестал «быть туристом» и начал работать; ему надоело смотреть на этот рай со стороны, тем более в Университете Йе Юн начинался новый семестр.

Он взялся вести два семинара и открытый курс лекций. От него не требовали преподавательской работы, но он давно уже жаждал ее, и администрация Университета пошла ему навстречу. Что же касается «открытого класса», то это была не его и не их идея. К Шевеку с этой просьбой явилась целая делегация студентов, и он сразу согласился. Именно так обычно делалось в учебных центрах Анарреса: группы составлялись по требованию учащихся, или же по инициативе преподавателей, или же благодаря тому и другому одновременно. Когда Шевек обнаружил, что руководство Университета скорее огорчено этим, ему стало смешно: неужели они ожидали, что студенты совершенно не склонны к анархии? Да это были бы просто не настоящие студенты! Всегда нужно стремиться выплыть на поверхность, даже если совсем опустился на дно.

У него не было намерения пойти навстречу администрации и отменить этот курс – он и сам раньше, будучи студентом, выдерживал подобные битвы, и, поскольку он чувствовал себя абсолютно уверенно, его уверенность сообщалась и другим. Чтобы избежать неприятных публикаций в прессе, ректорат Университета сдался, и Шевек начал читать свой курс, в первый же день собрав немыслимую аудиторию – две тысячи человек! Вскоре посещаемость, правда, значительно упала. Он говорил исключительно о проблемах физики, никогда не отвлекаясь и не затрагивая ни личных, ни политических проблем, а физика, о которой шла речь, была доступна далеко не каждому. Однако несколько сотен студентов продолжали посещать занятия. Некоторые приходили из чистого любопытства – посмотреть на человека с луны; других Шевек привлекал как личность: им достаточно было видеть этого анархиста, сторонника доктрины «свободы воли»; в его речах они улавливали что-то свое, даже если не способны были проследить за ходом его математических выкладок. Но самое удивительное – многие сумели все же уловить не только философский, но и математический смысл его теорий.

Им дали отличное образование, этим юным уррасти. Умы их были отточены, остры, готовы к восприятию. Когда они не работали, то просто отдыхали, и при этом их не отупляли и не отвлекали десятком других обязанностей и обязательств. Они никогда не засыпали в аудитории, потому что устали от дежурства по общежитию, которое несли накануне. Общество Урраса поддерживало будущий цвет своей науки, и студенты Университета были абсолютно свободны от каких бы то ни было других забот. Ничто не отвлекало их от серьезных занятий.

Однако совершенно по-другому стоял вопрос о том, что они могли и чего не могли делать. Шевеку показалось, что их свобода от обязанностей и забот находится в прямой пропорции с нехваткой у них свободы инициативы.

Он ужаснулся, когда познакомился с их экзаменационной системой; он и представить себе не мог более отпугивающего средства для тех, кто естественным образом желает узнавать новое; особенно кошмарной казалась ему необходимость прямо перед экзаменом поспешно нахватывать недостающие знания и выталкивать эту непрожеванную и неперевавленную массу по требованию экзаменатора. Сперва он отказывался устраивать какие бы то ни было контрольные или проверки, а также – ставить оценки, однако это настолько огорчало администрацию Университета, что он, не желая быть невежливым и неблагодарным по отношению к тем, кто его сюда пригласил, сдался и попросил своих студентов написать работу по любой интересующей их проблеме в области физики, пообещав поставить за самостоятельность мышления самые высокие оценки, чтобы университетские бюрократы смогли бы занести их в свои реестры. К его удивлению, довольно многие студенты явились к нему с жалобами. Они хотели,

чтобы это он ставил перед ними цели и задачи, чтобы он спрашивал их по конкретным вопросам из области пройденного; сами же они не хотели ни ставить перед собой вопросы, ни думать о них – хотели лишь написать готовые ответы по хорошо выученному и проработанному материалу. А некоторые даже совершенно серьезно возражали против того, чтобы Шевек всем ставил одинаковые оценки. Они считали, что так невозможно отличить выдающихся студентов от тупиц. Да и какой прок от упорной работы в течение семестра, если даже элементов соревнования не сохраняется? Тогда можно вообще ничего не делать!

– Что ж, разумеется, – сказал встревоженный Шевек. – В этом вы правы: если не хотите делать работу, то и не следует ее делать.

Они ушли, ничуть не успокоенные его ответом, но по-прежнему вежливые и почтительные. Вообще-то, они были приятные ребята, открытые, вежливые, умеющие себя вести. То, что Шевек прочитал по истории Урраса, в итоге заставило его прийти к выводу, что это настоящие аристократы – хотя это слово и редко использовалось в последнее время. Аристократы духа. Во времена феодализма представители аристократии посылали своих сыновей в Университет, придавая, таким образом, первостепенное значение образованности. Теперь же это приобрело как бы обратный смысл: выпускники Университета уже считались аристократами и обладали определенным превосходством над остальными. Студенты с гордостью говорили Шевеку, что конкурс на получение стипендии с каждым годом становится все более жестким, но в нем могут участвовать все – этим доказывалась исходная демократичность данного учебного заведения. Он ответил:

– Вы вешаете на дверь еще один замок и называете это демократичностью?

Да, Шевеку нравились его вежливые умные студенты, но он не испытывал особого тепла ни к одному из них. Они заранее строили свои карьеры – чисто академические или в промышленности. А то, что они узнавали у него на занятиях, да и знания вообще воспринимались ими всего лишь как средство для достижения конечной цели: успешной карьеры. Им было не важно – даже если они понимали, ЧТО Шевек мог предложить им дополнительно, – получают ли они эти дополнительные знания, если и без них сумеют занять подходящее место в обществе.

Никаких других обязанностей, кроме подготовки к двум семинарам и курсу лекций, у него не было; все остальное время целиком было в его распоряжении. Он не имел столько свободного времени с тех пор, когда ему было двадцать, с первых курсов учебы в Аббенае. А потом его общественная и личная жизнь становилась все более и более сложной и требовательной. Он был не только физиком, но еще и отцом семейства, одонийцем и, наконец, общественным реформатором. И ему некуда было сбежать от забот и ответственности, которые сыпались на него как из рога изобилия. Его никогда ни от чего не освобождали; он был свободен только трудиться, без конца что-то делать. А здесь, на Урресе, все было иначе. Как и все преподаватели и учащиеся, он не обязан был делать ничего, буквально ничего! Кровати за них стелили, комнаты убирали, все бытовые проблемы на факультетах решал кто-то еще, перед ними же был открыт широкий путь – в Науку. И никаких жен, никаких семей. Вообще никаких женщин. Студентам в Университете Йе Юн жениться было запрещено. Женатые преподаватели обычно пять дней в неделю жили по-холостяцки в университетском городке и уезжали домой только на два выходных дня. Ничто не отвлекало их от науки. Полная свобода – можно было заниматься только любимым делом; все материалы под рукой; интеллектуальные споры, разговоры – в любое время! И никакого давления. Просто рай, да и только! Однако Шевек, похоже, никак не мог прийти в себя и по-настоящему взяться за работу.

Чего-то ему не хватало – в нем самом, как он считал, не в окружающей среде. Он, видно, еще не дорос до таких условий. У него не хватало совести – безвозмездно принимать то, что ему так щедро предлагалось. Он чувствовал себя каким-то обезвоженным, точно растение пустыни, хотя кругом раскинулся прекрасный оазис. Жизнь на Анарресе, ее необычайная суровость и

требовательность наложили на него свой отпечаток, закрыли его душу; воды жизни разливались вокруг него могучим потоком, а он все не мог напиться.

Он, разумеется, заставлял себя работать, но не чувствовал уверенности в себе. Он, казалось, утратил то научное чутье, которое, согласно собственной самооценке, считал своим главным преимуществом перед остальными физиками, – ощущение того, в чем именно заключена действительно важная проблема и где тот ключ, что даст возможность проникнуть в самую ее сердцевину. Он работал в Лаборатории по исследованию природы света, очень много читал и за лето написал три работы: то есть, по обычным меркам, эти полгода были достаточно продуктивными. Однако он понимал, что по-настоящему-то он ничего не сделал.

Чем дольше он жил на Урресе, тем менее реальным он ему казался. Он словно ускользал от него – этот полный жизненных сил, великолепный, неистощимый мир, который он тогда увидел из окон своей комнаты в самый первый день пребывания на этой планете. Этот мир выскальзывал из его неловких рук чужака, избегал его, и когда Шевек смотрел на то, что у него получилось, оказывалось, что это нечто совершенно отличное от того, к чему он стремился, что-то совсем ему не нужное, вроде смятой брошенной бумажки. Просто мусор.

Он получил деньги за написанные им работы. У него уже было на счете в Национальном банке десять тысяч международных валютных единиц – премия Сео Оен, а также грант в пять тысяч, который ему предоставило правительство А-Йо. Теперь эта сумма еще увеличилась благодаря его профессорской зарплате и гонорару, полученному в издательстве Университета за три последние монографии. Сперва все это казалось ему смешным, потом ему стало не по себе. Не может же он повернуться спиной, как к чему-то нелепому, к тому, что в конце концов представляет здесь первостепенную важность! Он попытался читать простенькие статьи по экономике, но это оказалось невыносимо скучно – все равно что слушать, как кто-то рассказывает свой ужасно длинный и совершенно дурацкий сон. Он не смог заставить себя понять, как именно функционируют банки и тому подобное, потому что все операции этих капиталистических учреждений были для него столь же бессмысленны, как ритуалы какой-нибудь примитивной религии, как нечто варварское – столь же замысловатое, сколь и ненужное. В человеческих жертвоприношениях вполне могла быть по крайней мере хотя бы ошибочная и страшная, но все-таки красота; в ритуалах этих менял, где алчность, лень и зависть были призваны двигать всеми поступками людей, даже ужасное становилось банальным. Шевек смотрел на это чудовищное крюкотворство с презрением и без всякого интереса. Он не допускал, не мог допустить, что на самом деле ему от всего этого становится страшно.

Сайо Пае как-то раз повез его по магазинам. Шла уже вторая неделя пребывания Шевека в А-Йо. Хотя он не собирался стричь волосы – в конце концов, он считал их частью самого себя, – но в остальном хотел быть похожим на настоящего жителя Урреса. Ему надоело, что на него пялят глаза как на чужеземную диковинку. Его прежний, слишком простой костюм выглядел здесь чуть ли не вызывающе, а мягкие, хотя и грубо сшитые ботинки, предназначенные для пустыни, казались весьма странными среди изящной городской обуви. Он сам попросил Пае помочь ему сменить гардероб, и они поехали на улицу Семтеневиа, элегантный торговый центр Нио-Эссейи, чтобы заказать там обувь и одежду.

Сам по себе опыт подобной поездки оказался настолько ошеломляющим, что Шевек решил никогда больше его не повторять и поскорее выбросить все это из головы, однако и несколько месяцев спустя ему часто снились кошмарные сны об этой поездке. Улица Семтеневиа была мили две в длину, и по ней двигалась плотно спрессованная масса людей и транспорта. Здесь все покупалось или продавалось. Куртки, пальто, различные наряды, вечерние платья, рубашки, брюки, спортивная одежда, майки, блузки, шляпы, обувь, носки, шарфы, шали, курточки, кепки, зонты, пижамы, купальные костюмы, одежда для коктейлей и деловых приемов, для пикников и путешествий, для театра и для занятий скейтбордингом, для торжественных обедов и охоты – все разное, сотни самых различных фасонов, сотни стилей и расцветок, фак-

туры и толщины ткани. Духи, часы, лампы, статуэтки, косметика, свечи, картины, фотокамеры, настольные и спортивные игры, вазы, диваны, чайники, подушки, куклы, дуршлаг, кастрюли, драгоценные украшения, ковры, зубочистки, календари... Он видел детскую погремушку из платины и хрусталя, электрическую машинку для заточки карандашей, наручные часы с цифрами из бриллиантов; безделушки, сувениры, лакомства, записные книжки и прочую мелочь – все одинаковое и совершенно бессмысленное, украшенное драгоценными металлами и самоцветами так, что совершенно невозможно было определить, что это такое и зачем оно. Квадратные километры, буквально забитые предметами роскоши, совершенно ненужными, излишними, «экскрементальными»... У одной из первых витрин Шевек остановился и с изумлением уставился на потрепанное, покрытое странными пятнами, какое-то косматое пальто, висевшее на самом видном месте среди прочих изысканных нарядов и украшений.

– Это пальто стоит восемь тысяч четыреста единиц? – спросил он, не веря собственным глазам; как раз недавно он прочитал в газете, что здешний «прожиточный минимум» для семьи составляет примерно две тысячи единиц в год.

– О да! Ведь это натуральный мех! Теперь большая редкость – ведь животных охраняет государство. – Пае явно был в восторге от косматого пальто. – Красивая вещь, правда? Женщины любят меха.

Они миновали еще один квартал, и Шевек понял, что дальше идти не в силах. Он чувствовал себя до крайности изможденным. Он больше не мог смотреть. Ему хотелось закрыть глаза.

И самое странное на этой кошмарной улице – что ни одна из невероятного множества выставленных для продажи вещей там не делалась. Вещи там только продавали. Но где же тогда мастерские, фабрики, заводы? Где фермеры, ремесленники, шахтеры, ткачи, химики, резчики, красильщики, дизайнеры? Где те руки, что изготовили все это? Спрятаны, чтобы не быть на виду. Где-то подальше. За стенами. А здесь водились только два сорта людей: покупатели и продавцы. И ни те ни другие не имели никакого отношения к созданию вещей. Только к обладанию ими.

Шевек обнаружил, что если с тебя один раз снимут мерки, то потом можно без конца заказывать все, что тебе захочется или понадобится, просто по телефону, и решил больше никогда не возвращаться на эту кошмарную улицу.

Заказанные костюмы и обувь прибыли через неделю. Шевек переоделся и некоторое время постоял перед огромным зеркалом в спальне. Отлично сидевший серый пиджак, белая сорочка, черные узкие брюки, черные носки, блестящие черные туфли – все это очень шло ему, высокому, худощавому. Он коснулся пальцем блестящего носка туфли. Это было очень похоже на кожу, хотя вряд ли такое возможно. Впрочем, тот же материал, что и на креслах в гостиной... Он не выдержал и спросил кого-то, что это такое, и ему сказали: да, действительно, это кожа – точнее, шкура животных, тщательно выделанная. Шевек поморщился, вспомнив об этом. Он выпрямился и отвернулся от зеркала. Однако все же успел заметить, что в таком виде, нарядно и модно одетый, он еще больше похож на свою мать Рулаг.

* * *

В середине осени между семестрами были большие каникулы. Большая часть студентов разъезжалась по домам. Шевек отправился автостопом в горы Мейтейс с группой студентов и научных работников из Лаборатории по исследованию природы света, потом, вернувшись, сделал заявку на несколько часов работы за большим компьютером, который в течение семестра вечно был занят. Но, даже уставая до отвращения от работы, которая не давала никаких результатов, он работал не слишком усердно. Спал больше обычного, много гулял, читал и пытался убедить себя, что просто он всегда раньше чересчур торопился из-за постоянной нехватки вре-

мени, но нельзя, невозможно познать, хотя бы охватить взглядом целый новый мир всего лишь за несколько месяцев. Лужайки и рощи университетского парка были прекрасны – с кудрявыми деревьями, сияющими золотой осенней листвой, которую срывали ветер и дожди. Шевек увлекся поэзией; он читал стихи крупнейших поэтов-йоти и теперь хорошо понимал, почему они так часто воспевали цвета и краски осени. Понимание этой поэзии принесло огромное наслаждение. И очень приятно было вернуться вечером в свою комнату, в этот дом, спокойная красота которого не переставала восхищать его. Хотя теперь он уже немного привык и к красоте, и к комфорту своего жилища. Привык он и к лицам своих коллег в профессорской; некоторые из них были ему более приятны, некоторые – менее, но все теперь уже были ему хорошо знакомы. Привык и к обильной и чрезвычайно разнообразной пище, количество которой сперва приводило его просто в смущение. Человек, который прислуживал ему за столом, быстро разобрался в его потребностях и вкусах и обслуживал его так, как, наверное, он сам бы себя не обслужил. Шевек по-прежнему не ел мяса; он, разумеется, попробовал его – из вежливости, а также пытаясь доказать себе, что должен подавить всякие там иррациональные предрассудки, – однако его желудок с ним не согласился и яростно восстал, устроив Шевеку два совершенно катастрофических приступа. Шевек сдался и прекратил подобные эксперименты с мясным; он остался вегетарианцем, хотя рыбу ел и вообще отличался отменным аппетитом. Он даже прибавил в весе – килограмма три-четыре – и выглядел сейчас очень хорошо, загорелый и отдохнувший за каникулы. Сегодня, вставая из-за стола в огромном старинном зале столовой с невероятно высокими потолками, с балками над головой, с украшенными деревянными панелями и чьими-то портретами стенами, с зажженными на столах свечами, со сверканием серебра и тонкого фарфора, он с кем-то поздоровался с высоты своего огромного роста и двинулся было к выходу с обычным выражением миролюбивой отрешенности на лице, когда к нему через весь зал бросился Чифойлиск.

– У вас найдется две-три свободные минутки, Шевек?

– Да, конечно. Пойдемте ко мне?

Чифойлиск, похоже, колебался.

– Может быть, лучше в библиотеку? – предложил он. – Вам это все равно по пути, а мне нужно взять кое-что из книг.

Они пересекли двор, направляясь к библиотеке факультета естественных наук – таково было старомодное название физического факультета, сохранившееся в некоторых институтах даже на Анарресе. Сгущались сумерки, накрапывал дождь. Чифойлиск раскрыл зонт, а Шевек шел с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и воспринимая его, пожалуй, даже с большим удовольствием, чем жители Урраса солнечные погожие деньки.

– Вы же промокнете, – буркнул Чифойлиск. – У вас ведь, кажется, легкие не в порядке? Нужно быть осторожнее.

– Я прекрасно себя чувствую, – сказал Шевек и улыбнулся: быстрая ходьба и дождик освежили его. – Этот «прикрепленный» ко мне вашими властями врач прописал мне какие-то замечательные ингаляции. И знаете, мне чудесно помогло: я больше совсем не кашляю. Я его попросил перечислить названия этих процедур и лекарственных средств, которыми он пользовался, во время сеанса радиосвязи с нашим Синдикатом инициативных людей. И он мою просьбу с удовольствием выполнил. Знаете, такое простое средство, а облегчение огромное! И особенно эффективно при большом скоплении пыли в воздухе. Ну почему, почему никто не догадался делать подобные ингаляции раньше? Почему вообще мы работам не вместе, Чифойлиск?

Чифойлиск хмыкнул со злой иронией. В читальном зале было тихо и пусто. Стеллажи со старыми книгами под изящными двойными арками из мрамора, священный полумрак, лампы – простые белые шары – на длинных читальных столах. И ни души, только смотритель поспешил за ними следом, чтобы разжечь огонь в мраморном камине и убедиться, что им ничего больше

не нужно. Затем он снова исчез. Чифойлиск постоял у камина, глядя, как разгорается растопка. Брови его над маленькими глазками были сдвинуты, грубоватое, смуглое, умное лицо казалось мгновенно постаревшим.

– У меня к вам неприятный разговор, Шевек, – хрипловато начал он. – Полагаю, вас это не слишком удивит.

– А в чем, собственно, дело?

– Интересно, понимаете ли вы, зачем вы здесь?

Помолчав, Шевек ответил:

– По-моему, да.

– В таком случае вы сознаете, что вас купили?

– Купили?

– Ну хорошо, скажем, «кооптировали», если вам это нравится больше. Послушайте, каким бы умницей ни был человек, он не может увидеть того, что видеть ему не дано. Как можете вы понять свое положение, свою нынешнюю роль здесь, в этом плутократическом олигархическом государстве, прибыв из маленькой коммуны голодающих идеалистов, буквально свалившись с небес?

– Уверяю вас, Чифойлиск, на Анарресе осталось не так уж много идеалистов. Первые поселенцы действительно были идеалистами, раз смогли покинуть эту цветущую планету ради наших бесплодных пустынь. Но то было семь поколений назад! Уверяю вас, наше общество весьма прагматично. Возможно, даже чересчур. Ибо сосредоточено исключительно на проблеме собственного выживания. Что уж такого «идеалистического» в кооперации, во взаимопомощи? Ведь там – это единственный способ выжить.

– Я не могу спорить с вами о ценностях учения Одо. Что отнюдь не значит, что мне этого никогда не хотелось! И я действительно немного разбираюсь в этом, смею вас уверить. Мы, моя страна, значительно ближе к одонийцам, чем А-Йо. Мы продукт того же великого революционного движения, имевшего место в восьмом веке, что и вы, мы – социалисты.

– Но у вас ведь типичная иерархия! Государство Тху даже более централизованно, чем А-Йо. Тот, у кого в руках власть, контролирует все – правительство, управленческий аппарат, полицию, армию, образование, правовую систему, торговлю, производство... К тому же вы пользуетесь деньгами.

– Денежные отношения у нас в экономике основываются на том, что каждый получает по труду, то есть по стоимости своего труда, – и получает не от капиталистов, которым вынужден служить, а от государства, членом которого является сам!

– А что, он сам и устанавливает, какова стоимость его труда?

– Послушайте, Шевек, почему бы вам не приехать в Тху и не посмотреть собственными глазами, как функционирует настоящая социалистическая система?

– Я знаю, как функционирует настоящая социалистическая система, – сказал Шевек. – Я могу вам это рассказать, но вот позволит ли мне ваше правительство разъяснить это у вас, в Тху?

Чифойлиск подтолкнул ногой полено, которое до сих пор еще не занялось. Лицо его, когда он смотрел на огонь, было исполненным горечи, от крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие резкие морщины. На вопрос Шевека он не ответил. Потом наконец промолвил:

– Я не собираюсь играть с вами в прятки. Это так или иначе к добру не привело бы. Но я должен спросить у вас: вы бы хотели поехать в Тху?

– Не сейчас, Чифойлиск.

– Но разве здесь вы можете чего-то добиться?..

– Мне нужно закончить работу. К тому же близится заседание Совета Государств Планеты...

– Да этот Совет уже лет тридцать у А-Йо в кармане! Не надейтесь, что они вам помогут. СГП – для вас не спасение!

– Так, значит, мне грозит опасность? – помолчав, спросил Шевек.

– Вы что, даже этого не поняли?

Повисла гнетущая тишина.

– Против кого же вы меня предостерегаете? – спросил чуть погодя Шевек.

– Ну, в первую очередь опасен Пае...

– Ах да, Пае... – Шевек оперся руками о каминную полку, украшенную золотистым орнаментом. – Пае – очень хороший физик. И весьма обязательный, услужливый человек. Но я ему не доверяю.

– Да? А почему?

– Видите ли... Он всегда ускользает, никогда не ответит прямо...

– Вот именно! Это вы очень точно подметили. Однако Пае опасен для вас, Шевек, не из-за своих личных качеств, не из-за своей изворотливости, а потому, что он верный и надежный агент правительства А-Йо. Он докладывает в тайную полицию, то есть в Департамент национальной безопасности, о каждом вашем слове. И о моем тоже. Причем регулярно. Господи, я вас очень высоко ценю, Шевек, но неужели вы не понимаете, что ваша привычка оценивать каждого только с точки зрения его личных качеств здесь не годится? Это здесь попросту не работает! Вы должны сперва разобраться, что за силы стоят за тем или иным «представителем науки».

Шевек подобрался, выпрямился и теперь, как и Чифойлиск, смотрел на пляшущие в камине языки пламени.

– Откуда вам все это известно – о Пае? – спросил он.

– Из того же источника, из которого мне известно, что в вашей комнате имеется подслушивающее устройство. Как и в моей, впрочем. Вообще-то, я по роду своей деятельности обязан знать о таких вещах.

– Вы что, тоже тайный агент?

Лицо Чифойлиски стало еще суровее; он помолчал, потом вдруг повернулся к Шевеку и заговорил тихо и с ненавистью:

– Да, конечно! Иначе как бы я оказался здесь? Всем известно, что правительство Тху посылает за границу только тех, кому может доверять... А мне они доверять могут! Потому что я не куплен, как все эти богатенькие профессора-йоти. Я верю своему правительству, я патриот! – Он выплевывал слова с какой-то яростной решимостью и мукой. – Да посмотрите вы вокруг, Шевек! Вы же словно ребенок среди воров. Они к вам добры, они предоставили вам хорошую комнату, возможность читать лекции студентам, у вас есть деньги, вы совершаете поездки по старинным замкам, по самым лучшим предприятиям, по самым красивым деревням... Все самое лучшее! Все самое красивое! И складывается все так замечательно! Но почему? Почему они действительно привезли вас сюда с луны, хвалят вас, печатают ваши книги, обеспечивают вас абсолютно всем необходимым в лекционных залах, лабораториях и библиотеках? Неужели вы думаете, что они делают это из научного бескорыстия, из братской любви? Это экономика наживы, Шевек!

– Я знаю. Я прибыл сюда, чтобы заключить с ее представителями сделку.

– Сделку? Какую? Зачем?

Лицо Шевека стало таким же холодным и замкнутым, как после посещения крепости в Дрио.

– Вы же знаете, чего я хочу, Чифойлиск. Я хочу, чтобы мой народ вернулся из ссылки! Я прилетел в А-Йо, потому что не уверен, чтобы в Тху этого хотели бы. Вы боитесь анаррести. Вы боитесь, что мы можем принести с собой истинно революционные идеи, идеи той, старой, настоящей революции, которую вы во имя справедливости начали, а потом остановились на

полпути. Здесь, в А-Йо, меня боятся меньше, потому что йоти давно забыли о той революции. Они больше в нее не верят, они думают, что, если людям дать достаточно разных вещей, они вполне удовлетворятся даже жизнью в тюрьме. Но ведь это не так, и я никогда не поверю в это! Я хочу, чтобы рухнули тюремные стены. Я стремлюсь к солидарности, солидарности наших народов. Я хочу свободного обмена между Уррасом и Анарресом. Я не щадил сил во имя этой цели на Анарресе, а теперь я пытаюсь сделать что-то на Урресе. Там я действовал активно. Здесь – в рамках заключенной сделки.

– Сделки? Но какой?

– Ах, вы прекрасно все понимаете, Чифойлиск, – сказал тихо и с нажимом Шевек. – И прекрасно знаете, чего они от меня ждут.

– Да, знаю. Но я не знал, что вы ее уже создали! – Хриплый голос Чифойлиска стал похож на рычание, казалось, в горле у него что-то шипит и клокочет. – Значит, она существует – общая теория времени?

Шевек молча смотрел на него – во взгляде его чуть сквозила ирония.

– Она у вас в компьютере? На бумаге? – не унимался Чифойлиск.

Шевек продолжал молчать еще с минуту, потом ответил прямо:

– Нет. Эта работа пока не завершена.

– Слава богу!

– Почему?

– Потому что, если б она была завершена, они бы ее уже заполучили.

– Что вы хотите этим сказать?

– Только то, что сказал. Послушайте, разве не Одо утверждала, что везде, где существует собственность, существует и кража?

– Немного не так. «Чтобы создать вора, создайте собственника; чтобы создать преступление, создайте закон». Это из «Социального организма».

– Да-да, верно. Значит, там, где существуют секретные документы, существуют и люди, способные подобрать ключи от комнат, где эти документы хранятся.

Шевек поморщился и сказал:

– Вы правы. И это очень неприятно.

– Для вас, возможно. Но я не страдаю вашими комплексами, и меня не мучают дурацкие угрызения совести. Честно говоря, я знал, что у вас нет этой теории в записях. Но если б я хотя бы предполагал, что она у вас есть, я бы сделал все возможное, чтобы получить ее, использовал бы любые средства – убеждение, кражу, насилие. Если бы мне казалось, что мы можем силой похитить вас, не развязав при этом войны с А-Йо, я бы не преминул воспользоваться этим, лишь бы увезти вас вместе с вашей теорией от этих жирных капиталистов и передать в наш Центральный Президиум. Ибо самая высшая цель для меня – служить своей стране во имя ее упрочения и благополучия.

– Да врете вы все, – миролюбиво сказал Шевек. – Возможно, вы действительно патриот своей родины, но для вас научная истина дороже патриотизма. И возможно, ваше уважение к отдельным индивидам также сильнее так называемой любви к отечеству. Вы же не предадите меня, правда?

– Предал бы, если б смог! – свирепо рявкнул Чифойлиск. Он хотел было что-то еще прибавить, но не стал, а помолчав, сказал сердито и почти с отвращением: – Думайте что хотите, Шевек. Я не могу открыть вам глаза насильно. Но помните: народу Тху вы нужны. Если вы наконец поймете, что происходит с вами здесь, приезжайте в Тху. Вы ошиблись и выбрали не тот народ для братания! И если... А впрочем, это не мое дело! Если же вы так и не приедете в Тху, то по крайней мере не отдавайте свою теорию этим йоти. Ничего им не давайте, этим менялам! Уезжайте отсюда. Уезжайте домой. Отдайте своему собственному народу то, что можете и хотите кому-то отдать!

– Моему народу это не нужно, – бесцветным тоном сказал Шевек. – Неужели вы думаете, что я не пробовал?

* * *

Дней через пять Шевек как-то поинтересовался, куда пропал Чифойлиск, и ему сказали, что он вернулся в Тху.

– Навсегда? А ведь даже словом не обмолвился, что собирается уезжать.

– Подданный государства Тху никогда не знает, когда получит приказ от своего Президиума, – ответил Пае, ибо, разумеется, Пае и сообщил Шеваку об отъезде Чифойлиски. – А когда приказ им получен, подданный государства Тху должен мчаться со всех ног на зов своего правительства и по пути не отвлекаться и не останавливаться. Бедный старина Чиф! Интересно, какую ошибку он умудрился совершить?

* * *

Раза два в неделю Шевек ходил навестить старого Атро, жившего в хорошеньком маленьком домике на самой окраине университетского городка. Вместе с ним жили двое слуг, такие же старые, как он сам, которые нежно о нем заботились. В свои восемьдесят лет Атро, по его же собственным словам, был больше похож на памятник – памятник первоклассному физику. Хотя ему, в отличие от Граваб, удалось все же увидеть при жизни воплощенными на практике почти все свои идеи. Атро и Граваб тем не менее были в чем-то похожи: она была абсолютно бескорыстна, Атро же слишком долго прожил, чтобы питать к кому-то корыстный интерес. По крайней мере его интерес к Шеваку был чисто личным – дружеским и профессиональным. Атро был первым среди тех, кто, исповедуя принципы классической физики, сумел пересмотреть свои взгляды в свете теоретических новшеств Шевека, связанных с проблемами пространства и времени. И он добровольно сражался принятым из рук Шевека оружием во имя его теорий и против всего научного истеблишмента Урраса, и эта битва продолжалась несколько лет, прежде чем последовала публикация полного варианта «принципов одновременности», вскоре после чего сторонники этой теории одержали наконец победу. Это была высочайшая вершина в жизни Атро. Он никогда бы не стал сражаться за то, что недостойно называться истиной, однако больше, чем саму истину, он любил восторг сражения за нее.

Атро прекрасно знал свою генеалогию – одиннадцативековую! – всех генералов, князей, крупных землевладельцев. Его семейству и до сих пор принадлежало поместье в семь тысяч акров с четырнадцатью деревнями в провинции Сие, наименее урбанизированной провинции А-Йо. Атро с удовольствием и даже с гордостью вставлял в свою речь различные провинциальные обороты и архаизмы. Излишним «патриотизмом» он явно не страдал, а правительство своей страны называл во всеулышание «демагогами и ползучими политиками». Его уважение купить было невозможно. И все же он дарил его безвозмездно любому ослу, который, как он говорил, «был из хорошей фамилии». В некотором роде для Шевека он был совершенно не постижим: загадка, аристократ до мозга костей. И все же его искреннее презрение как к деньгам, так и к власти заставляло Шевека чувствовать родственную душу скорее в нем, чем в ком-либо еще из тех, с кем он познакомился на Уррасе.

Однажды, когда они сидели вдвоем на застекленной веранде, украшенной разнообразными редкими видами цветов, совершенно не свойственных данному сезону, Атро случайно обронил: «Мы, китайцы...» – и Шевек тут же поймал его на этом:

– «Китайцы»? Разве это не «птичий язык»?

Понятие «птичий язык» выдумали газетчики и тележурналисты, оно часто звучало в популярных радиопередачах и фильмах, состряпанных для городских обывателей.

– Птичий! – согласился Атро. – Мой дорогой, где и когда вы, черт возьми, успели набраться этих вульгарных словечек? Разумеется, я имел в виду прежде всего Уррас и Анаррес!

– Странно, что вы пользуетесь термином, которым нас назвали инопланетяне, не принадлежащие к «созвездию Кита».

– Определение от противного, – радостно парировал старик. – Сто лет назад нам это слово не было нужно вообще. Вполне годилось слово «человечество». Но шестьдесят с чем-то лет назад все изменилось. Мне было тогда семнадцать. Помнится, стоял чудесный солнечный денек, какие часто бывают в начале лета. Я упражнялся в верховой езде, и вдруг моя старшая сестра крикнула мне, высунувшись из окна: «Иди скорей! Они там с кем-то из дальнего космоса по радио разговаривают!» Моя бедная дорогая мама! Она страшно перепугалась: решила, что теперь нам конец – прилетят иноземные дьяволы... ну, вы понимаете... Но это оказались всего лишь хайнцы, что-то там квакавшие о мире и братстве... Итак, понятие «человечество» становилось, пожалуй, чересчур широким... Разве можно определить понятие «братство» лучше, чем понятием «не-вражда»? Определение от противного, мой дорогой! Мы с вами, вполне возможно, родственники. Всего несколько столетий назад ваши предки, например, пасли коз в этих горах, а мои – драли по три шкуры со своих серфов в Сие, и тем не менее! Чтобы понять подобное родство, нужно всего лишь встретиться с инопланетянином или хотя бы услышать о нем. С существом из другой солнечной системы. С так называемым представителем человечества, который не имеет с нами ничего общего, кроме примерно таких же двух ног, двух рук и одной головы с некоторым количеством извилин внутри!

– Но разве хайнцы не доказали, что мы...

– Все имеем инопланетное происхождение? Все являемся потомками хайнских межпланетных колонистов? Полмиллиона лет назад, или миллион, или два миллиона, а может, и три заселивших нашу Галактику? Да, я знаком с этой теорией. Тоже мне – доказали! Клянусь простыми числами, Шевек, вы точно студент-первокурсник! Как вы можете серьезно говорить об исторической доказанности, если имеете дело с отрезком времени в два-три миллиона лет! Эти хайнцы швыряются тысячелетиями, точно мячами; что ж, они неплохие жонглеры, да только все это цирк! Религия моих предков утверждает, и, по-моему, не менее авторитетно, что я являюсь прямым потомком некоего Пинра Ода, которого великий бог сослал из Верхних Садов, потому что тот имел нахальство сосчитать свои пальцы на руках и ногах, затем сложил, получил двадцать и тем самым выпустил Время в свободный полет. Я бы предпочел этот миф мифу об инопланетных предках, если б мне пришлось выбирать!

Шевек рассмеялся; шутки Атро он всегда слушал с удовольствием. Однако на этот раз старик был серьезен. Он похлопал Шевека по плечу, сдвинул брови, пожевал губами, что всегда служило у него признаком душевного волнения, и сказал:

– Я надеюсь, вы, хотя бы отчасти, разделяете мои чувства, дорогой Шевек. Я искренне на это надеюсь. В обществе Анарреса, я уверен, есть немало такого, чем можно восхищаться, однако оно не учит вас отличать один народ от другого, не учит дискриминации, а ведь это самое лучшее из того, чему нас учит цивилизация. Я не хочу, чтобы какие-то проклятые хайнцы захватили вас врасплох благодаря вашим заявлениям насчет братства, общности корней и прочей чуши. Они прямо-таки затопят вас реками словес об «общности человечества» и станут призывать в эту дурацкую «лигу всех миров», или как там еще она называется. И мне бы ужасно не хотелось видеть, как вы проглотите эту наживку. Закон существования нормального общества – это борьба, соревнование, уничтожение слабых, безжалостная борьба за выживание. И я хочу видеть, как выживут лучшие! То человечество, которое я знаю. «Китайцы» – то есть вы и я, Уррас и Анаррес. Сейчас мы впереди и хайнцев, и землян, и всяких там прочих, и мы должны остаться впереди. Они когда-то подарили нам тягу для межпланетных кораблей, но теперь мы строим куда лучшие корабли, чем они. Когда вы будете готовы обнародовать свою общую теорию, я бы от всего сердца желал – и я очень на это надеюсь! – что

вы в первую очередь подумаете о долге перед своим народом, перед своими соплеменниками. О том, что такое верность родине и патриотизм, о том, кому вы должны в этом поклясться. – Старики легко плачут – светлые слезы выступили на полуослепших глазах Атро.

Шевек положил руку старику на плечо, стараясь его подбодрить, но ничего не сказал.

– Они тоже получают ее, разумеется. В конечном итоге. Может быть, даже случайно. Так и должно быть. Научная истина всегда прорвется наружу, нельзя спрятать солнце под камнем. Но прежде чем они получают ее, я хочу, чтобы они за нее заплатили! Я хочу, чтобы мы первыми заняли место, полагающееся нам по праву. Я хочу, чтобы мой народ уважали! И именно это вы способны выиграть в соревновании с ними. Квантовый переход. Мгновенное перемещение в пространстве – если нам удастся подчинить скачкообразные переходы квантовых систем, то их межпланетный двигатель не будет стоять и горсти бобов. Вы же знаете, я не денег хочу. Я хочу, чтобы превосходство НАШЕЙ науки было признано во всей Галактике! Как и превосходство НАШЕГО разума. Если суждено возникнуть некой межзвездной цивилизации, этой пресловутой Лиге Миров, то, клянусь, я желал бы, чтобы мой народ занял в ней подобающее место! Мы должны войти в эту цивилизацию не как представители низшей касты, но как благородные и уважаемые ее члены, как аристократы, держа в руках великий дар нашей собственной цивилизации, – вот как это должно быть... Ладно, я порой слишком горячусь... особенно когда думаю об этом... Между прочим, как продвигается ваша книга?

– Я в последнее время работал над гравитационной гипотезой Скаска. У меня такое ощущение, что он заблуждается, используя только частичные дифференциальные уравнения...

– Но ваша последняя работа тоже была по гравитации. Когда вы намерены приступить к настоящему делу?

– Вы же знаете, что обрести средства для достижения цели – это конец движения, во всяком случае для нас, одонийцев, – не задумываясь ответил Шевек. – Кроме того, я не могу строить общую теорию времени, опуская проблему гравитации, верно?

– Вы хотите сказать, что даете нам свою теорию по кусочку, по капельке? – как-то подозрительно глянул на него Атро. – Это мне в голову не приходило... Пожалуй, прочитаю-ка я еще разок вашу последнюю работу. Некоторые места в ней остались для меня не совсем ясны. Глаза, правда, ужасно устают в последнее время. По-моему, с этой штуковиной, которой я пользуюсь для чтения, что-то не в порядке. Она совершенно перестала держать текст в фокусе.

Шевек сочувственно и грустно посмотрел на старика, но ни слова более не сказал ему, на какой стадии находится разработка его общей теории.

* * *

Приглашения на приемы, торжественные открытия и тому подобное вручались Шевеку ежедневно. На некоторые он ходил, поскольку прибыл на Уррас с определенной миссией и должен был попытаться выполнить ее – внушить идею братства и солидарности двух миров. Он выступал с речами, и люди слушали его и говорили: «Как это верно!»

Порой ему было интересно: почему правительство не остановит его выступления? Чифойлиск, должно быть, что-то преувеличивал – в собственных, разумеется, целях – насчет здешних контроля и цензуры. Выступления Шевека носили чисто анархический характер, однако уррасти его не останавливали. Да и зачем? Они же все равно его не слушали. Казалось, он все время говорит с одними и теми же людьми: прекрасно одетыми, прекрасно накормленными, холеными, с изысканными манерами, улыбающимися. Неужели все люди на Уррасе такие? «Именно страдание собирает людей вместе», – говорил им Шевек, и они кивали и соглашались: «Ах, как это верно!»

Он начинал их ненавидеть и, поняв это, резко перестал принимать их приглашения.

Но это означало признание собственного поражения, а также – усиление изоляции, в которой он и без того ощущал себя здесь. Он явно делал что-то не то. Не так... Это не они отсекают его от своего общества, уверял он себя, это он сам – как и всегда! – стремится к самоизоляции. Он был чудовищно, удушающе одинок среди множества людей, своих коллег, которых видел каждый день. Но самая большая беда была в том, что дело его, его теория, стояло на месте. И никакие его идеи никого на Уррасе не затронули, несмотря на усилия стольких месяцев!

В общей гостиной преподавательского корпуса он как-то вечером заявил:

– А знаете, я так и не понял, как вы живете. Я, конечно, видел частные дома – с внешней стороны. Но изнутри мне знакома лишь ваша не-частная жизнь – в этой гостиной, в столовой, в лабораториях...

На следующий день Ойи смущенно пригласил Шевека к себе домой – на обед и на последующие два дня, выходные.

Дом Ойи находился в Амено, деревушке, расположенной в нескольких милях от Университета Йе Юн; по меркам уррасти, это был довольно скромный домик, типичный для представителя «среднего класса», приметный, может быть, лишь своей старостью, – ему было около трех веков. Он был построен из камня, а стены в комнатах отделаны деревянными панелями. Оконные и дверные проемы были украшены столь характерными для стиля йоти двойными арками. Шевеку сразу понравилось, что в доме просторно, не слишком много мебели, комнаты строгие, с отлично отполированными полами. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке среди экстравагантного убранства залов, где проходили всякие приемы. Уррасти, безусловно, обладали вкусом, однако это врожденное чувство часто вступало в противоречие с желанием показать себя и, главное, свое богатство. Естественные – эстетические – корни желания обладать какой-то прекрасной вещью были искажены требованиями чего-то совсем иного – соперничества экономического порядка, что, в свою очередь, сказывалось на качестве вещей: все они приобретали характер показной «роскошности». Было приятно, что в доме Ойи царят изящество и простота, достигаемые, видимо, благодаря сдерживанию этих порывов состязательной страсти.

В прихожей слуга помог ему снять пальто; жена Ойи вышла на минутку поздороваться с Шевеком – она была на кухне, отдавала последние указания повару, – но вскоре она окончательно присоединилась к ним, и Шевек обнаружил, что говорит почти исключительно с нею. Она вела себя очень дружелюбно и чем-то была похожа на него самого, что несколько его удивило.

Но до чего же приятно было снова беседовать с женщиной! Ничего удивительного, что ему казалось, будто он существует в полной изоляции, причем какой-то совершенно искусственной: среди одних мужчин. В таком однополом обществе всегда не хватает легкого напряжения, создаваемого именно различиями полов. К тому же Сева Ойи была весьма привлекательна; глядя на изящную выпуклость ее затылка и чуть впалые виски, Шевек решил, что это не такой уж, в сущности, плохой обычай – брить голову, в том числе и женщинам. Сева была очень сдержанной, даже чуточку стеснительной, и, когда ему удалось немного разговорить ее, он был страшно доволен.

За обеденным столом к ним присоединились двое детей. Сева Ойи извинилась:

– В здешних местах просто невозможно стало найти приличную няню!

Шевек покивал, не понимая, что в данном случае означает «няня». Он наблюдал за мальчиками с огромным облегчением и радостью. С тех пор как он улетел с Анарреса, он практически не видел детей.

Сыновья Ойи были очень чистенькие, вели себя спокойно и скромно, говорили, только когда к ним обращались; одеты они были в синие бархатные курточки и брючки. Дети смотрели на Шевека с восторгом, как на существо из далекого космоса. Старший, девятилетний, все

время сурово поучал семилетнего братишку, шипел, что нельзя «так пялить глаза», и щипал, если младший ему не подчинялся. Тот отвечал ему тоже щипками и попытался даже пнуть его ногой под столом. Похоже, принцип возрастного превосходства был еще недостаточно хорошо им усвоен.

Дома Ойи оказался совсем другим человеком – простым, очень дружелюбным, свободным. Выражение таинственности исчезло с его лица, и он больше не растягивал слова, точно обдумывая каждый звук. Жена и дети относились к нему с уважением и любовью, и он отвечал им тем же. Шевеку приходилось слышать более чем достаточно весьма сомнительных высказываний Ойи в адрес женщин, и он был удивлен, увидев, как вежливо и почтительно, даже деликатно обращается Ойи со своей женой. «Это же настоящее рыцарство», – подумал Шевек, он совсем недавно узнал это слово. Однако вскоре пришел к выводу, что это нечто лучшее, чем просто рыцарство: Ойи был влюблен в собственную жену и полностью доверял ей. Примерно такие отношения обычно складывались и в семьях анаррести между любящими партнерами.

Шевеку казалось только, что семейный круг слишком узок для проявления личной свободы. Впрочем, он чувствовал себя здесь настолько хорошо и естественно, настолько свободно, что желания что бы то ни было критиковать у него не возникало.

Во время одной из пауз среди общего разговора младший мальчик вдруг сказал тоненьким чистым голоском:

– А господин Шевек не умеет как следует вести себя!

– Это почему же? – спросил Шевек, прежде чем жена Ойи успела накинуться на сына с упреками. – Что я такого сделал?

– Вы не сказали «спасибо».

– За что?

– Когда я передал вам блюдо с маринованными овощами.

– Ини! Умолкни, наконец!

«Садик! Не будь эгоисткой!» Интонации были практически те же самые.

– Я думал, ты просто делишься ими со мной. Или это следует считать подарком? В нашей стране говорят «спасибо», только когда тебе что-нибудь дарят. А остальные вещи мы просто делим друг с другом и никогда даже не говорим об этом, понимаешь? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе овощи обратно?

– Нет, я их не люблю, – ответил малыш, глядя прямо в лицо Шевеку своими темными, очень ясными глазами.

– Ну, в таком случае тебе тем более легко поделиться ими с кем-то другим, – сказал ему Шевек.

Старший мальчик прямо-таки весь извертелся – так ему хотелось ущипнуть Ини, но Ини только засмеялся, поглядев на брата, и показал мелкие белые зубы. Потом, когда в разговоре снова наступила пауза, прошептал, наклонившись к Шевеку:

– Хотите посмотреть мою выдру?

– Хочу.

– Она там, в саду, за домом. Мама велела ее убрать, она боялась, что выдра может вас беспокоить. Некоторые взрослые животных не любят.

– А мне очень нравится на них смотреть! У нас ведь в стране нет животных.

– Нет? – с изумлением уставился на него старший мальчик. – Папа! Господин Шевек говорит, что у них нет никаких животных!

Ини тоже удивленно посмотрел на Шевека:

– А что же у вас есть?

– Другие люди. Рыбы. Черви. И деревья-холум.

– А что такое деревья-холум?

Этот разговор затянулся еще на полчаса. Впервые Шевека на Урресе просили описать природу Анарреса. Вопросы задавали дети, однако и взрослые слушали с интересом. Шевек старался не касаться этических моментов: он не собирался «разводить пропаганду» среди своих гостеприимных хозяев. Он просто рассказывал, что представляет собой ужасная пустыня Даст, как красив город Аббенай, какую одежду носят на Анарресе, что делают люди, когда им нужна новая одежда, чему учат детей в школе. Последнее все-таки содержало некий пропагандистский элемент. Ини и Эви как зачарованные слушали его рассказ о занятиях в учебном центре, где, помимо обычных уроков, есть и уроки труда – фермерское дело, ковроткачество, вышивание и шитье, печатное и слесарное дело, уход за автодорогами, занятия драматургией, театром и музыкой, а также всеми прочими делами, которыми занимаются и взрослые. Но больше всего их поразило заявление Шевека, что анаррести никогда не наказывают детей, какой бы проступок они ни совершили.

– Хотя иногда, – честно признался Шевек, – все-таки наказывают: велят уйти и побыть некоторое время в одиночестве.

– Но что же тогда, – вырвалось у Ойи, словно этот вопрос не давал ему покоя очень давно, – что, если не страх перед наказанием, заставляет людей поддерживать порядок в обществе? Почему они не грабят и не убивают друг друга?

– А никто ничем не владеет, чтобы можно было у него что-то отнять. Если тебе что-то нужно, просто берешь это в распределительном центре. Что же касается насилия... ну я не знаю, Ойи! Вот вы бы меня просто так убили? А если бы вам так уж это было бы нужно, разве смог бы какой-то закон остановить вас? Принуждение – наименее эффективный способ достигнуть порядка в обществе.

– Ну хорошо, пусть так. Но как вам удастся заставить людей выполнять, например, грязную работу?

– Какую грязную работу? – спросила жена Ойи, не поняв вопроса.

– Убирать мусор, копать могилы... – начал Ойи, и Шевек подхватил:

– Добывать ртуть... – И чуть было не сказал: «Перерабатывать фекалии на удобрения», но вовремя вспомнил существующее у йоти табу на подобные «физиологизмы». В самом начале своего пребывания на Урресе ему часто приходило в голову, что уррасти живут буквально среди гор «эксскрементов», но никогда даже словом не обмолвятся об этом.

– В общем, мы все выполняем такую работу. Но никто не обязан заниматься ею слишком долго, если только ему самому это не нравится. Один раз в десять дней тебя могут попросить принять участие в подобных работах; существуют специальные списки, согласно которым работники все время сменяют друг друга. Самыми неприятными видами работы, а также самыми опасными, вроде добычи ртути, обычно не полагается заниматься более полугода.

– Но в таком случае практически весь состав подобных предприятий – одни новички? Это же невыгодно! Ведь им еще нужно учиться!

– Да. Это действительно не слишком «выгодно» и эффективно, но что поделаешь? Нельзя же заставить человека выполнять работу, которая через несколько лет превратит его в инвалида или просто убьет? С какой стати ему ее выполнять?

– У вас можно отказаться выполнить приказ?

– А это не приказ, Ойи. Человек просто идет в Центр по распределению труда и говорит: я хотел бы заняться тем-то и тем-то, что у вас есть? И ему сообщают, где есть подходящая для него работа.

– Но в таком случае почему люди вообще соглашаются выполнять грязную работу? Почему? Хотя бы и один день из каждых десяти?

– Потому что такую работу делают все вместе... И каждый по отдельности. Есть и другие причины. Вы знаете, жизнь на Анарресе небогата – в отличие от здешней. В маленьких коммунах не слишком-то много развлечений, зато очень много работы, и ее просто необхо-

димо сделать. Так что если ты главным образом занимаешься каким-то механическим или умственным трудом, то даже приятно каждый десятый день уехать куда-нибудь и поработать за городом – скажем, уложить ирригационную трубу или вспахать поле. Поработать со всеми вместе... И потом, в этом есть даже некий элемент соревнования, поединка. Здесь вы считаете, что основной стимул для работы – это деньги или желание преуспеть, но там, где денег нет, истинные побуждающие мотивы более прозрачны, наверное. Людям просто нравится что-то делать. И притом делать хорошо. Они берутся за опасные, трудные дела, потому что гордятся своими умениями, своей способностью выполнить что-то, иным недоступное, когда они могут – мы называем это эгоистическими наклонностями – проявить себя... Или показать? Я верно выбрал слово? Ну как мальчишки кричат порой: «Эй, малявки, посмотрите, какой я сильный!» Понимаете? Человеку вообще нравится делать то, что у него хорошо получается... Но это уже вопрос скорее о целях и средствах. В конце концов работа делается ради того, чтобы быть сделанной. Это самое большое удовольствие в жизни. И каждый лично сознает это. Не менее важно и понимание этого всем обществом, и даже мнение соседей... Никакой материальной награды за труд на Анарресе не существует, и никакого обязывающего работать закона тоже. Важно только то удовлетворение, которое получает от работы сам человек, и уважение его друзей. В таких обстоятельствах мнение близких – это весьма могущественная сила.

– И никто никогда этому не сопротивляется?

– Видимо, бывает, но не слишком часто, – ответил Шевек.

– Так, значит, у вас там все очень много работают? – спросила жена Ойи. – А что бывает с теми, кто просто не хочет принимать участия в общем труде?

– Ну, он переезжает на другое место. Понимаете, остальные от него устают. Они над ним смеются или начинают обращаться с ним грубо, даже бьют иногда. В маленьких коммунах еще и так наказывают: договорятся и вычеркнут имя лодыря из списков в столовой, так что придется ему самому готовить себе и есть в одиночестве, что весьма унижительно. И этот человек без конца переезжает с места на место, едет все дальше и дальше. Некоторые всю жизнь проводят в переездах. Такого человека называют «нучниб». Я и сам отчасти такой – ведь я уехал сюда, бросив порученную мне работу. Правда, я уехал дальше, чем все остальные. – Шевек сказал это спокойно; если в его голосе и прозвучала горечь, то детям она была незаметна, а взрослым – непонятна.

Однако после его слов наступило недолгое молчание.

– Я не знаю, кто выполняет грязную работу здесь, – сказал он. – Я никогда не видел, как ее делают, – и это очень странно. Кто этим занимается? Почему? Им что, больше платят?

– За опасную работу – иногда больше. За обычное обслуживание – нет. Меньше.

– Так почему же они в таком случае выполняют эту работу?

– Потому что маленькая зарплата лучше, чем никакая, – сказал Ойи, и в его-то голосе горечь прозвучала совершенно отчетливо. Жена его тут же постаралась переменить тему, но он продолжал: – Мой дед прислуживал в отеле. Мыл полы и менял белье на кроватях. В течение пятидесяти лет. По десять часов в день. Шесть дней в неделю. Он занимался этим, чтобы прокормить себя и семью... – Ойи вдруг умолк и посмотрел на Шевека своим прежним, недоверчивым взглядом, а потом почти с вызовом глянул на жену. Та поспешно отвела глаза, нервно улыбнулась и сказала по-детски тоненьким голоском:

– Зато отец Димере очень преуспел в жизни. Под конец он стал владельцем четырех компаний. – Ее улыбка явно скрывала душевную боль, смуглые изящные руки были стиснуты на коленях.

– Вряд ли у вас, на Анарресе, есть преуспевающие люди, – сказал Ойи с неприятной иронией, но тут в столовую вошел повар, чтобы переменить тарелки, и разговор тут же прервался.

Мальчик Ини, словно понимая, что взрослые, скорее всего, будут молчать в присутствии слуги, спросил:

– Мама, можно господин Шевек после обеда посмотрит на мою выдру?

Когда они снова перешли в гостиную, Ини было разрешено принести свою любимицу. Это была почти уже взрослая сухопутная выдра, один из самых распространенных зверьков на Уррасе. Ойи объяснил, что этих выдр стали приручать с незапамятных времен – сперва для того, чтобы они таскали из воды улов, а потом просто держали в качестве «любимцев семьи». У выдры были короткие лапы, выгнутая дугой гибкая спинка, блестящая темно-коричневая шерсть. Это было первое содержавшееся не в клетке животное, которое Шевек видел вблизи. Надо сказать, выдра боялась его гораздо меньше, чем он ее. Особенно впечатляли ее белые острые зубы. Шевек осторожно протянул руку, чтобы погладить зверька, уж больно на этом настаивал Ини. Выдра села на задние лапы и внимательно посмотрела на Шевека. Глаза у нее были темные, золотистые, умные, любопытные, невинные.

– «Аммар», – прошептал Шевек, замороженный этим взглядом, – брат.

Выдра что-то проворчала, опустила на все четыре лапки и с интересом стала обнюхивать туфли Шевека.

– Вы ей нравитесь, – сказал Ини.

– Она мне тоже, – откликнулся Шевек с легкой грустью.

Когда он видел какое-нибудь животное, летящих птиц, прелесть осенней листвы на деревьях, сердце его каждый раз пронзала эта грусть, значительно снижавшая удовольствие от созерцания этих замечательных явлений живой природы. Не то чтобы он сразу же в такие моменты вспоминал Таквер, он вообще не думал о том, что ее нет с ним рядом. Скорее, она как будто бы всегда была рядом, хотя он о ней вовсе не думал. Просто красота неведомых ранее животных и растений Урраса была для него исполнена некоего тайного смысла, словно Таквер через них посылала ему весть о себе – Таквер, которая никогда их не увидит! Таквер, чьи предки в течение семи поколений жизни на Анарресе ни разу не коснулись рукой теплой шерстки животного, ни разу не любовались промельком птичьих крыльев в тени деревьев!

Ночь он провел в комнате под самой крышей, козырьком нависавшей над окном. Было прохладно, и он был этому даже рад – в университетском общежитии топили чересчур жарко. Комната была убрана очень просто: кровать, книжные полки, комод, кресло, крашеный деревянный стол. Как дома, подумал он, стараясь не обращать внимания на высоту кровати и мягкость матраса, на замечательные шерстяные одеяла и шелковые простыни, на сделанные из слоновой кости ножички для разрезания бумаги и прочие роскошные безделушки на комод, на кожаные переплеты книг и на то, что эта комната, и все в ней, как и сам дом, и земля, на которой этот дом стоит, являются частной собственностью, собственностью Димере Ойи, хотя не он строил этот дом и не он натирал в нем полы... Шевек решил не думать об этом. В конце концов, бесконечная дискриминация была утомительна. Это была хорошая, приятная комната, и она совсем не так уж сильно отличалась от любой отдельной комнаты в общежитиях Анарреса.

Ему снилась Таквер. Ему снилось, что она лежит с ним рядом, в этой постели, и обнимает его, и прижимается к нему всем телом... Но почему они здесь оказались? Что это за комната? Они вместе бродили по луне, было холодно, и они куда-то шли по ровному лунному полю, покрытому голубовато-белым снегом; хотя слой снега был тонок, но под ним при каждом шаге проглядывала еще более белая сияющая земля. Это было мертвое, совершенно мертвое место. «На самом деле там совсем не так», – говорил он Таквер, зная, что она напугана. Они шли к какой-то цели, к какой-то далекой линии на горизонте, к краю чего-то, казавшегося тонким и блестящим, точно сделанным из пластика, к какому-то далекому, с трудом различимому препятствию на том краю заснеженной равнины. Шевек с трудом подавлял страх, ему не хотелось приближаться к этой черте, но он говорил Таквер: «Мы скоро дойдем, ничего!» Но она не отвечала ему.

6 Анаррес

После десятидневного пребывания в больнице Шевека выписали, и сосед из комнаты номер сорок пять, математик Дезар, пришел навестить его. Он был высокий, очень худой, косоглазый, и во время разговора невозможно было сказать, смотрит он на тебя или нет. У них с Шевеком были неплохие отношения, хотя за весь год они вряд ли хоть раз обменялись друг с другом сколько-нибудь полной фразой.

Дезар вошел и молча уставился то ли на Шевека, то ли куда-то вбок.

– Что-нибудь надо? – спросил он наконец.

– Нет, я отлично обхожусь, спасибо.

– Может, обед?

– А себе? – Шевек тоже заговорил «телеграфным стилем».

– Ладно.

Дезар притащил из столовой обед на двоих, и они вместе поели в комнате у Шевека. Еще два дня Дезар приносил им обоим завтрак и обед, пока Шевек не почувствовал, что в состоянии снова ходить в столовую. Трудно было понять, почему Дезар вдруг решил о нем заботиться. Вел он себя не слишком любезно, да и понятие «всеобщее братство», видимо, значило для него крайне мало. Одну причину своей нелюдимости он явно скрывал ото всех как позорную: то ли из-за чрезвычайной лени, то ли из-за тайной страсти к накопительству он устроил в своей комнате чудовищную свалку вещей, которые не имел ни права, ни причины держать там, – это были тарелки из столовой, книги из библиотеки, набор инструментов для резьбы по дереву, микроскоп, восемь разных одеял, жуткое количество одежды, причем по большей части явно не его размера или такой, которую он, видимо, носил в возрасте восьми или десяти лет. Похоже, Дезар имел патологическую склонность посещать распределительные центры и набирать там вещи охапками вне зависимости от того, годились они ему или нет.

– Зачем ты хранишь весь этот хлам? – спросил Шевек, когда Дезар впервые впустил его к себе в комнату.

Дезар уставился ему в переносицу и пробормотал:

– Просто так.

Тема, которую выбрал Дезар, была настолько эзотерической, что никто у них в институте или в Федерации математиков не мог как следует проверить, насколько успешно у него продвигаются дела. Именно поэтому, видимо, он ее и выбрал. И был уверен, что Шевек выбрал свою по тем же причинам.

– Черт возьми, – говорил он, – работа? Да здесь и так хорошо. Классическая физика, квантовая теория, принцип одновременности – да какая, в сущности, тебе разница?

Иногда Шевеку Дезар бывал просто отвратителен, но, как ни странно, он даже несколько привязался к нему и сознательно поддерживал с ним отношения, поскольку это соответствовало его намерению переменить собственную жизнь «одиночки».

Благодаря болезни он понял, что если будет и дальше сторониться людей, то все равно рано или поздно сломается. К тому же с точки зрения одонийской морали его прежняя жизнь заслуживала осуждения, и Шевек безжалостно судил себя. До сих пор он все свое время тратил на себя одного, противореча тем самым основному этическому закону братства одонийцев – категорическому императиву. Шевек в двадцать один год отнюдь не был самовлюбленным эгоистом, и его моральные убеждения были искренни и стойки; однако порой он чувствовал, что некоторые основные понятия учения Одо ему пора пересматривать с позиций взрослого человека, – Шевек был слишком умен и развит, чтобы не понимать, что тот «одонизм», который вдалбливают детям в учебных центрах взрослые, обладающие весьма посредственным интел-

лектом и существенной ограниченностью кругозора, подается в «обстриженной», «укороченной» форме, загнанной в жесткие рамки, и более похож на элементарное поклонение идолу. Да, до сих пор он жил неправильно, решил Шевек. Он должен отыскать верный путь. И постепенно полностью переменить свою жизнь.

Он запретил себе по ночам заниматься физикой – пять ночей из десяти он спал. Он добровольно вызвался работать в институтской комиссии по управлению хозяйством и бытом. Стал ходить на собрания Федерации физиков, на заседания Студенческого синдиката и на тренировки группы биоментального развития. В столовой он заставлял себя садиться вместе с другими за большой стол, а не пристраиваться за маленький отдельный столик, раскрыв перед собой книгу.

Удивительно, но оказалось, что люди вроде бы его ждали! Они сразу приняли его в свою среду, стали приглашать к себе – просто поговорить и на шумные студенческие вечеринки. Они брали его с собой на прогулки и пикники, и через три декады он узнал об Аббенае больше, чем за весь минувший год. Он стал ходить вместе со всеми на спортплощадки, в мастерские, в купальни, на фестивали, в музеи, в театры, на концерты...

Ах, эта музыка! Она стала для него откровением, радостным потрясением.

Раньше он никогда не ходил на музыкальные вечера, отчасти потому, что по-детски думал, что музыку можно только исполнять самому, но не просто слушать. Раньше он никогда не задумывался, насколько она способна воздействовать на человека. В детстве он всегда участвовал в хоре или играл на каком-нибудь инструменте в школьном ансамбле; ему это очень нравилось, однако таланта особого у него не было. И это, собственно, было все, что он знал о музыке.

В учебных центрах учили всему, что может пригодиться в практической жизни; к искусству тоже относились с этих позиций: учили петь, преподавали основы метрики, ритмики, танца, учили пользоваться кистью и резцом, ножом и гончарным кругом и так далее. Все это было весьма прагматично: дети учились видеть, говорить, слушать, двигаться, держать в руках инструменты. Никаких различий между искусствами и ремеслами как бы не было; искусство просто не считалось чем-то занимающим в жизни особое место, а воспринималось как один из основных технических способов общения, вроде речи. Так архитектура одонийцев довольно рано и вполне независимо приобрела определенный и весьма устойчивый стиль – очень простой, обладающий чистыми свободными пропорциями. Живопись и скульптура широко применялись, но исключительно как декоративные элементы архитектуры и градостроительства. Что же касается словесности и поэзии, то они имели явную тенденцию к недолговечности и связаны были чаще всего с песней и танцем – в некоем синкретическом искусстве. И только театр развивался совершенно самостоятельно, только он один назывался «искусством» – считаясь достаточно сложным по своей структуре и функциям. Существовало множество стационарных и разъездных трупп актеров и танцоров; составлялись репертуарные компании, очень часто в них входили и драматурги. Существовал также театр мимики и жеста. Появлению артистов всегда радовались, как радовались дождям – особенно в изолированных друг от друга, разбросанных по каменистой пустыне городках. Выступления артистов были самым радостным событием года. Выросшая из чувства оторванности от своих древних корней и одновременно из необычайной сплоченности жителей Анарреса, воплотившая в себе то и другое, драма здесь достигла необычайного развития и силы воздействия.

Шевек, однако, не был слишком восприимчив к драме. Его очаровывало порой искусство монологов, но сама идея актерства, «притворства» была ему чужда. И только на втором году своего пребывания в Аббенае он наконец нашел «свое» искусство – сотканное из Времени. Кто-то взял его с собой на концерт в Синдикат музыки. На следующий вечер он снова пошел туда. И ходил на каждый концерт – вместе со своими новыми знакомыми или без них, как

получалось. Музыка оказалась куда более сильной потребностью, чем общение с приятелями, и приносила более глубокое удовлетворение.

Попытки Шевека вырваться из своего затворничества потерпели крах, и он это понимал. У него так и не появилось ни одного близкого друга. Он нравился девушкам, они охотно шли на близость с ним, но это не приносило ему должной радости. Это было обыкновенное удовлетворение потребности – так пищей утоляют голод. И после подобных сексуальных игр ему всегда бывало стыдно: ведь он включал другого человека в этот процесс чисто механически, точно неодушевленный предмет. Лучше уж заниматься мастурбацией, решил он. Он считал одиночество своей судьбой; ему казалось, что он пойман в ловушку собственной наследственности. Это ведь его мать, Рулаг, сказала тогда: «На первом месте у меня всегда была работа». Сказала спокойно, уверенно, подтверждая непреложность данного факта и свою неспособность что-либо изменить, вырваться из холодной ячейки одиночества. Точно так же было и с ним. Сердце его рвалось к людям, к тем веселым и юным, кто называл его братом, но между ними словно стояла стена. Он родился, чтобы быть одиноким, – проклятый, холодный интеллект! Эгоист!

Да, на первом месте у него была работа, вот только удовлетворения она не приносила. Как и секс. Она должна была быть радостью, удовольствием, но, увы! Шевек упорно продолжал грызть те же «крепкие орешки» квантовой теории, но ни на шаг не приближался к решению, например, «темпорального парадокса», не говоря уж о создании собственной теории одновременности, которая, как ему казалось в прошлом году, была у него практически в руках. Теперь он просто диву давался своей тогдашней самоуверенности. Неужели год назад он действительно считал себя, двадцатилетнего мальчишку, способным создать теорию, которая потрясет основы релятивистской космологии? Должно быть, еще до того, как свалиться в жару с воспалением легких, он заболел куда более серьезно: от излишней самоуверенности у него помутился рассудок! Шевек записался на два семинара по философии математики, убеждая себя, что эти занятия ему необходимы, и отказываясь признать, что мог бы сам вести любой из этих курсов не хуже тех преподавателей, у которых пытался чему-то научиться. Сабула он старался избегать.

В стремлении переделать свою жизнь к лучшему он предпринял попытку поближе сойтись с Граваб. Она охотно шла навстречу его желаниям, но у нее уже не хватало сил; особенно тяжело ей приходилось зимой, когда она без конца болела. И все же, слабая, глухая и старая, она начала весной успешно читать курс лекций, но, к сожалению, хватило ее ненадолго. От усталости она становилась очень рассеянной и порой с трудом узнавала Шевека, но когда узнавала, то непременно тащила его к себе домой, и они целый вечер оживленно беседовали. В теории он видел уже значительно дальше Граваб, и постепенно ему стали надоедать эти чересчур долгие беседы об одном и том же. Либо нужно было продолжать часами толочь воду в ступе – ведь теоретические посылки Граваб он не только хорошо знал, но и отчасти уже опроверг, – либо следовало, причинив старухе страдание, попытаться объяснить ей, в чем она всю жизнь заблуждалась. И то и другое было за пределами его возможностей – ему ведь было всего двадцать! И он в конце концов стал избегать и Граваб, всегда испытывая при этом жестокие угрызения совести.

Больше в институте не было никого, с кем он мог бы поговорить о своей теме. Квантовой теорией поля никто по-настоящему не занимался, а уж физикой времени и подавно. Шевеку хотелось научить кого-то, собрать группу единомышленников, но пока что преподавать ему не разрешали и аудиторию для подобных занятий не предоставляли. Студенческий синдикат отверг все его подобные требования – никому не хотелось ссориться с Сабулом.

За этот год он привык писать письма; он писал очень подробные письма Атро и другим физикам и математикам Урраса. Но лишь очень малая часть этих писем действительно была послана. Некоторые он, едва закончив, сразу же рвал на кусочки. Однажды он случайно

обнаружил, что математик Лоай Ан, которому он написал целый трактат на шести страницах по вопросам реверсивности времени, умер двадцать лет назад, – когда-то, читая «Геометрию времени» Ана, Шевек не стал тратить время на биографическую справку. Некоторые письма, которые он пытался отправить сам с грузовиками, прилетавшими с Уррасса, не пропускали служащие космопорта, который находился под непосредственным контролем со стороны Координационного совета. Многие из служащих космопорта обязаны были знать йотик. Эти «особые» знания и весьма ответственное положение явно сказывались на них, и менталитет их приобретал все более явную бюрократическую направленность; слово «нет» они произносили почти машинально, а письма, адресованные математикам и написанные с помощью математических символов и уравнений, воспринимали как шифровки, и совершенно невозможно было убедить их, что это вовсе не так. Письма физикам проходили легче, особенно если Сабул, постоянный консультант Совета, давал «добро». Но он никогда не пропускал те письма, которые связаны были с проблемами, выходившими за пределы его собственных познаний. «Это вне моей компетенции!» – ворчал он, отпихивая такое письмо в сторону. Шевек все равно не оставлял попыток передавать письма служащим космопорта, и они неизменно возвращались к нему с пометкой: «К вывозу не допущено».

В конце концов он изложил эту свою проблему перед Федерацией физиков, заседания которой Сабул посещал крайне редко. Но никто из членов федерации не считал необходимой свободную переписку с «идеологическим противником». Шевеку даже прочитали нотацию по поводу его увлеченности такими «таинственными» проблемами, что он, по его же признанию, не может найти на собственной планете никого, достаточно компетентного в этих вопросах.

– Но это же совершенно новая область! – возмутился Шевек. И совершенно зря.

– Если это «совершенно новая область», так разделите знания о ней с нами, а не с собственниками-уррасти! – парировали его оппоненты.

– Да я не раз предлагал прочитать курс по этим проблемам или вести семинарские занятия, но мне всегда говорили, что для этого пока еще не пришло время и студенты ко мне ходить не будут. Неужели вы боитесь того, что для вас слишком ново?..

Друзей он себе, разумеется, подобными заявлениями не нажил. А члены федерации были просто вне себя после его выступления.

Он продолжал писать письма на Уррас, даже когда знал, что не удастся послать ни одного. Сам факт того, что он пишет кому-то способному его понять, давал стимул думать и двигаться вперед. Иначе он чувствовал, что заходит в тупик.

Два-три раза в год он все же бывал вознагражден: получал письмо от Атро или еще от кого-то из физиков А-Йю или Тху; то были длинные письма, написанные мелким почерком, со множеством аргументов – сплошные теоретические выкладки, начиная со слов приветствия до подписи; все это было чудовищно трудным для понимания и связанным с различными проблемами метаматематической, этико-космологической и темпоральной физики. Письма были написаны на языке йотик – единственном языке, на котором Шевек мог говорить с людьми, которых не знал, но которые яростно пытались сражаться с его теориями, при этом уважая его как оппонента, и он с наслаждением спорил с ними – с врагами его родины, со своими соперниками, с «проклятыми собственниками», с братьями.

Обычно несколько дней после получения такого письма к Шевеку было лучше не подходить: он бывал чрезвычайно раздражителен и настолько возбужден, что работал день и ночь; идеи выплескивались через край, били фонтаном, но постепенно рывки вверх, в полет мысли, становились все слабее, он вновь опускался на землю, на сухую, бесплодную землю Анарресса, и сам иссыхал, поскольку иссякал источник его вдохновения.

Шевек заканчивал третий курс, когда умерла Граваб. Он попросил разрешения выступить на панихиде, устроенной, согласно обычаю, там, где покойная работала: в одной из больших аудиторий физического факультета. Он оказался единственным, кто пожелал выступить

на похоронах Граваб. Не пришел ни один студент; они уже успели ее позабыть: Граваб два года практически не преподавала. В последний путь ее провожали некоторые пожилые преподаватели, а также сын Граваб, человек средних лет, агрохимик, работавший где-то на северо-востоке. Шевек поднялся на кафедру – отсюда старая Граваб читала им лекции... Хриплым голосом – теперь зимой он всегда похрипывал из-за хронического бронхита – он говорил собравшимся, что это Граваб создала фундамент науки о времени, что она была величайшим космологом современности. «У нас в физике была своя Одо, – сказал он, – но при жизни мы не воздали ей должного». После этого выступления к Шеваку подошла какая-то старая женщина и стала благодарить его со слезами на глазах. «Мы всегда с нею вместе занимались уборкой в нашем блоке, когда дежурили, и это время проходило так хорошо, в таких интересных беседах!» – сказала она ему, щурясь на ледяном ветру, когда они вышли на улицу. Агрохимик пробормотал у гроба какие-то стандартные слова и поспешил поскорее вернуться к себе на северо-восток. С ощущением острого, непоправимого несчастья и тщетности собственных усилий Шевек до позднего вечера бесцельно шатался по городу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.